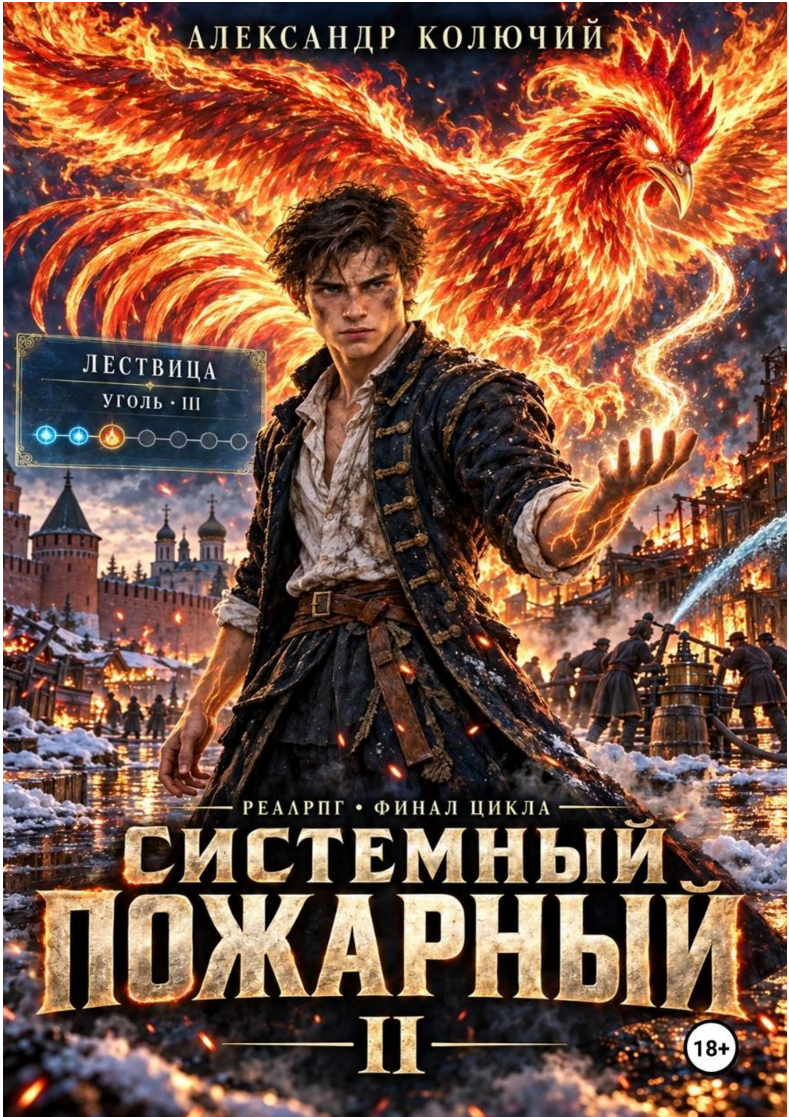
АЛЕКСАНДР КОЛЮЧИЙ



РЕАЛРПГ • ФИНАЛ ЦИКЛА

СИСТЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

II

18+

Александр (Колючий)

Системный Пожарный II

Серия «Системный Пожарный», книга 2

https://litres.ru/74573092
SelfPub; 2026

Аннотация

Пожарный из XXI века против столетнего заговора поджигателей. В Туле горит по расписанию: тайная роспись сто лет назначает, какой двор сжечь, чтобы кормить Дары одарённых родов. Исполнитель росписи — Красный Кочет — мой отец, живой, с вывернутым Даром и чужой рукой на вьюшке. На Страстной его сожгут прилюдно — если я не успею сделать так, чтобы их казнь стала моим судом. Финал серии: роспись будет прочитана вслух, и город узнает всё.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 22
Глава 3 41
Глава 4 60
Глава 5 77
Глава 6 95
Г 105
Конец ознакомительного фрагмента. 106

Александр (Колючий)
Системный Пожарный II

Глава 1

— Не велено! — сказал караульный и упёрся алебардой в снег, как будто это что-то решало. — Горевых — не велено впускать! Особое распоряжение!

Вот так. Триста вёрст по раскисающему зимнику, пять саней, восемь человек, конь-людоед и труба весом в хорошего борова — и всё это упирается в одного служивого с сизым носом и бумажкой в голове.

— Чьё распоряжение? — спросил я мирно.

— Их высокоблагородия брандмайора Жарова!

— Прекрасно. А к кому я, по-твоему, еду?

Караульный задумался. Думать на морозе ему было тяжело, пар шёл, как от самовара.

За моей спиной, в санях, завозились. Бубен — он всю дорогу ехал на Голландке верхом, как на лафете, и примёрз к ней душой окончательно — высунулся из тулупа:

— Слышь, служба! Ты в городе своём давно был? Обернись, сокол.

Караульный обернулся.

За заставой, в полуверсте, над кровлями слободки подни-

мался дым. Хороший такой, честный, густеющий на глазах дым — не печной, печной я отличаю с закрытыми глазами. Горело в два очага, и ветер был на слободу.

— Ахти... — сказал караульный и стал делать то, что в этом городе, как я понял позже, делали при пожаре все: закрутился на месте.

— Ворота, — сказал я. — Открывай ворота, труба пройдёт — а бумажку свою потом дочитаешь.

И Тула впустила нас — не по распоряжению, а по дыму. Как всю жизнь впускала меня любая дверь.

Горел постоялый двор на Крапивенской дороге — конюшни уже в полный рост, дом занимался. Народу вокруг металось изрядно, и метался он знакомо: вёдра в огонь, крик к небу, добро из окон.

Дальше мы работали, не въехав в город. Даже не представившись.

— Голландку — к колодцу! Цепь! — Бубен скатился с трубы и пошёл командовать расстановкой, гремя на тульских, как на своих. Тульские, что характерно, слушались: командный голос — валюта во всех губерниях.

— Лушка — конюшню! Там кони, слышишь? Прибей пламя от ворот, выводить будем!

Лушка встала перед конюшенными воротами, задрала руки — и над воротами пошёл дождь. В феврале. С чистого неба.

Тула охнула так, что на секунду стало тише пожара.

— Никодим, Ерофей — дом, северную стену! Синица — по верху, гляди, куда несёт! Я — в конюшню!

Уголь — третья ступень отцовской Лествицы — брался у меня пока криво, вполсилы: в открытый огонь я входил, как в прорубь, рывком, и держался там недолго. Но на вывод лошадей из горящей конюшни меня хватало с запасом. Кони, у которых от дыма уже лопались глаза от ужаса, шли за мной, как привязанные: за полтора года я понял, что животные чуют во мне что-то своё. Наверное, то, что огонь рядом со мной — тише.

В конюшне было как положено в горящей конюшне: ничего не видно, нечем дышать и всё орёт. Дым тёк под кровлей толстой чёрной рекой и опускался на глазах; огонь шёл по сену у дальней стены и уже пробовал на зуб перегородки. Кони бились в денниках — слепые от ужаса, мокрые, страшные. Лошадь на пожаре опаснее огня: она не хочет спасаться, она хочет умереть там, где привыкла жить, и норовит утащить с собой спасателя.

Делается это так — и я орал это через плечо конюху, который сунулся за мной: морду завязать! Любой тряпкой, армяком, подолом — коню, который не видит огня, сразу становится наполовину легче. Вести — не тянуть: встать к плечу, ладонь на шею — и идти самому, конь пойдёт за идущим. И никогда, ни за что не отвязывать двух сразу.

С первыми тремя вышло по науке. Четвёртым был хозяй-

ский мерин, здоровенный, как печь, — этот упёрся, и мы с конюхом выволокли его вдвоём, спиной вперёд, уговаривая такими словами, от которых Никодим за стеной, наверное, перекрестился. На шестом над денниками треснула и пошла вниз слега — я поймал её плечом и ладонью, приняв жар в руку, как привык, досуха; конюх вытаращился — рукав на мне дымился, а рука была целая. «После объясню», — сказал я. Ничего я, конечно, после не объяснял: к вечеру он сам уже рассказывал на дворе, что «барин у огня — заговорённый», и это была лучшая подорожная грамота из всех возможных.

А снаружи тем временем Бубен делал из тульской толпы то, что положено делать из толпы: цепь. Он поставил две линии от колодца — полную посуду посуху, пустую обратно, — гаркнул «не плескать, девки, не на пляске!» — и вёдра пошли ходко, как патроны. Никодим с багром держал северную стену дома: рвал горящую завалинку, скидывал с угла занявшийся тёс. Ерофей с двумя тульскими мужиками раскатал по стене мокрые кошмы — у Силыча нашлись войлока, возчики оставили, — и стена, уже лизнутая дважды, так и не занялась.

Через час всё было кончено: конюшни — головешки, дом — стоит, чёрный по фасаду. Люди — целы. Кони — целы. Из восьми вёдер, разбитых обычно при всяком деревенском пожаре, разбили одно, и то Силычево, старое.

Я стоял посреди двора, дышал паром и смотрел, как мои работают с тульской толпой — слаженно, весело, зло, — и

думал: ну вот. В город ещё не вошли, а город нам уже должен. Правильное начало. По-горевски.

— Складно работаете.

Голос был офицерский — из тех, что привыкли, чтобы их слышали через плац. У саней стоял немолодой военный в шинели внакидку: прямой, седоусый, с лицом, выдубленным службой до состояния голенища. За ним — двое с жаровскими кокардами.

— Майор Чекан, — представился он. — Жаровского пожарного дому. А вы, стало быть, тот самый Горев.

— Тот самый — это какой?

— Про которого их высокоблагородие с осени изволят говорить «пусть только явится». — Чекан оглядел пепелище, Голландку, Лушку, с которой ещё капало, и в седых усах что-то дрогнуло. — Являться завтра к девяти. Дом Жаровых на Миллионной, спросить всякий покажет. Долг свой захватите. Весь.

Он повернулся уходить — и остановился. Посмотрел на воротный столб постоялого двора.

Я уже и сам туда смотрел.

На столбе, под свежей копотью, едва читался след: меловые черты, гребешком. Знакомым гребешком — я его узнал бы из тысячи. Только гребешок был... стёрт. Затёрт грубо, наспех, ладонью или рукавицей — но мел въедается в дерево, и под косым светом следы жили.

— Это что у вас? — спросил я Чекана ровно.

— Где? — Он глянул. — А. Мальчишки балуют, петухов малюют. Велено стирать.

— Кем велено?

— Распоряжение было, — сказал Чекан уже суше. — По всем частям: меловые художества на воротах — стирать немедля, дабы не плодить суеверий. С осени распоряжение.

Он козырнул и ушёл к своим саням.

А я стоял у столба и смотрел на затёртый гребень, и внутри у меня было холодно совсем не по-февральски.

В Крапивне метки читал я один — и успевал. Здесь, в Туле, метки читать запретили. Кто-то очень предусмотрительный распорядился стирать календарь пожаров прежде, чем город выучится его читать.

С осени распоряжение. С той самой осени, когда зябкий человек Ефим Ильич отбыл из Крапивны по тульской дороге.

— Бубен, — позвал я. — Знаешь, что я тебе скажу про этот город?

— Что в ём горит складно, а тушат погано?

— Это само собой. — Я тронул пальцем затёртый мел. — В этом городе, Кузьмич, кто-то стирает метки. А стирают, старик, только то, что боятся дать прочитать.

Пятьдесят два дня оставалось до Пасхи — я посчитал в первый же вечер, по привычке считать всё. До расчёта по закладной — тысяча двести, и ни копейкой меньше. Я ещё не знал, что эти полсотни дней станут последними днями всей

этой истории — моей, отцовской, графской.

Знал я одно: мы приехали.

— Ночуем здесь, — сказал я. — Хозяин пустит, мы ему конюшню... ладно, не будем про конюшню. Завтра к девяти — на Миллионную.

— А опосля? — спросил Синица, выворачивая из снега какой-то спасённый им лично узел.

— А опосля, — сказал я, — начнём считать, сколько в этом городе стёртых петухов.

Хозяин погорелого двора — звали его Макар Силыч — к утру дозрел до того состояния, которое я за две жизни выучил наизусть: сидел на уцелевшем крыльце, смотрел на чёрные стропила конюшни и считал вслух, по кругу, одно и то же.

— Конюшня — вся... Сено — всё... Овса сорок мешков... Постояльцы съедут... Подать к Рождеству... Всё, Силыч. Отъездился.

Рядом стояла хозяйка — круглая, решительная баба — и смотрела не на конюшню, а на мужа. Правильно смотрела: конюшни отстраиваются, мужики, бывает, нет.

А мы никуда не спешили: в город нас до жаровского «завтра к девяти» всё равно никто не звал, постой был уплачен за трое суток вперёд, ещё когда двор стоял целый. И я сделал то, что делал после пожаров всю первую жизнь, только там это называлось «работа с погорельцами», а здесь не называ-

лось никак, потому что никто этого не делал.

Я сел рядом с Макаром Силычем на крыльцо и сказал:

— Считаешь? Давай вместе. Только по-моему: не что сгорело, а что осталось.

Он посмотрел на меня, как на юродивого. Я загнул палец:

— Дом — цел. Чёрный по фасаду, да цел: фасад — мытьё да скоблёжка, три дня работы. Постояльцы твои целы все до одного — а это, Силыч, слава на весь тракт: у Макара, скажут, горело, а никто пальца не обжёг. Кони целы — все восемь, и мои люди их уже выводили, гляди, вон жуют. Колодец цел. Погреба целы. — Я повернулся к нему. — Что реально сгорело? Конюшня да сено. Сруб на конюшню — какой нужен? Пятистенный?

— Шести... — машинально сказал Силыч и сморгнул. — Шестистенный, на восемь денников...

— Лес почём в Туле зимой?

И он начал отвечать. Сначала машинально, потом живее, потом загорелся — простите мне это слово — и через полчаса мы сидели уже втроём с хозяйкой над сметой, которую я чертил углём на обороте старой подорожной: сруб, тёс, работа, овёс до весны, и выходило не «отъездился», а рублей сорок и три недели, если не лениться.

— А и правда... — Силыч крутил головой, как после бани. — А я уж было... Слышь, жена! А ведь встанем!

— Встанем, — сказала хозяйка и посмотрела на меня так, что мне захотелось спрятаться. Я этот взгляд знаю: сейчас

кормить будут.

Кормили — страшно.

У хозяйки уцелела летняя печь за домом, и к полудню она развернула на ней такое, что мои крапивенские, намёрзшиеся за дорогу, застонали в голос: щи суточные, которые она чудом уберегла в погребе, каша с салом, блины горой — Масленая неделя шла, самое блинное время, — и к блинам сметана, мёд и толчёная ягода. Бубен ел молча, со слезой. Синица ел так, что хозяйка трижды бегала за добавкой и смотрела на него с материнским ужасом. Лушка помогала у печи, и бабы шептались уже как подружки.

— Вот что, служивые, — объявила хозяйка, подпершись. — Покуда в Туле обживаетесь — столуйтесь у меня. С вас — ничего. Вы мне мужика с ума не пустили, это дороже.

Так у нас в Туле появился первый тыл: постоялый двор Макара Силыча на Крапивенской дороге. Не последнее дело, между прочим. Армия без кухни — толпа, это вам любой интендант скажет.

К слову, о кухне — и о том, как берутся города. Города берутся не штурмом, города берутся щами. Лушка в первый же вечер попала к хозяйке в поварню — помогать, а через час они там уже спорили о капусте: хозяйка резала крупно, по-тульски, «чтоб хрустела», Лушка — мелко, по-крапивенски, «чтоб упревала». Спор о капусте — это у русских баб протокол о намерениях: если спорят — значит, признали. К третьему дню они варили, не сговариваясь, одной рукой; к

пятому хозяйка выучила Лушку тульским жамкам, а Лушка её — Матрёниному наваристому «суточному» секрету; а к концу недели по Крапивенской дороге уже шёл слух, что у Силыча на дворе кормят так, как «в самой Туле не кормят», — и обозы, что прежде проходили мимо, стали заворачивать на ночлег. Силыч ходил именинником и приписывал всё новой конюшне.

Конюшня, Макар Силыч. Конечно, конюшня.

После обеда я взял Синицу, и мы пошли в город. Пешком, вдвоём, без обоза — смотреть.

Город надо смотреть ногами — это закон. С каланчи увидишь крыши, из саней — улицы, а правду про город знают только подошвы: где теснота, где сушь, где вода, куда побежит огонь и куда побегут люди.

Тула после Крапивны оглушала. Крапивна — ладошка: площадь, две слободы, все друг другу кумовья. Тула — зверь: тридцать тысяч душ, заводы, оружейные ряды, купеческие улицы с каменными низами, слободы — Кузнечная, Оружейная, Ямская, Чулкова, — и всё это дымит, стучит, звенит молотками, тащит сани с железом, орёт на перекрёстках.

Я шёл и считал. Привычно, походя, как дышал: вот теснота — Оружейная слобода, дворы впритык, заборы смоляные, если займётся при ветре — ляжет порядками... Вот вода — Упа, пруды заводские, колодцы на площадях, негусто для

такого зверя... Вот каланча жаровская — высокая, добрая, а дозорного на ней нет: будка пустая, снегом занесло, по снегу видно — неделю не метено...

— Барин, — сказал Синица вполголоса. — А чегой-то мы считаем?

— Город считаем. Запоминай и ты: тебе тут работать... Кстати, о работе. — Мы как раз выходили на торговую площадь, в самую гущу. — Видишь народ?

Синица повёл носом по площади — и я прямо услышал, как у него внутри защёлкал его собственный счёт: вон сбитенщик с лотком, вон нищие у церкви — чужие, незнакомые, по чужим местам сидят; вон мальчишки у лабазов, глядят волчатами...

— Вижу, — вздохнул он. — Чужой народ. Тут всё поделено, барин, у таких, как я. Сунусь без спросу — бока намнут.

— А ты не без спросу. Ты с капиталом. — Я отсыпал ему в ладонь полтину медью и пятаками. — Сбитень, калачи, да не жмись. Тебе не воровать — тебе знакомиться. К вечеру мне нужно, чтоб у тебя в этом городе было десять приятелей. К неделе — чтоб сорок. Ты теперь, Гришка, не вор и не вестовой. Ты у меня теперь... — я поискал слово из той жизни и перевёл на здешний: — ты у меня начальник городского слуха.

Синица посмотрел на полтину. На площадь. Снова на полтину. И расцвёл так, что у сбитенщика, к которому он направился первым, наверное, потеплел товар.

Я же пошёл по рядам — слушать купцов. Купца слушать просто: спроси про цены, и он расскажет тебе всю политику.

В скобяной лавке я застрял на полчаса — и не жалею ни об одной минуте. Во-первых, дело: нам с Силычем на конюшню нужны были скобы, гвозди и две дюжины костылей, и я выторговал их по зимней цене, с подначкой — «у тебя же, хозяин, после осенних пожаров пол-лавки на стройку разошлось, неужто на погорельца накинешь?» Хозяин, бородатый дядька с руками в вечной окалине, крякнул, скостил и зауважал: торгующегося здесь уважали больше, чем платящего. Во-вторых, товар. Я перебирал его скобы, топоры, дверные петли — и понимал, что попал в железный рай: тульская работа, ровная, звонкая, вполцены против того, что в Крапивну привозили втридорога. Багры здесь ковали на заказ. Цепи — любые. Помпу бы здесь собрали, дай чертёж...

— А чего это барин железо слушает? — не выдержал хозяин, глядя, как я щёлкаю ногтем по полосе.

— Привычка. По звону видно, перекален или нет... Вот что, хозяин. Будет тебе заказ — крючья пожарные, багры по образцу, цепь ведёрная. Чертёж принесу. Возьмёшься?

— Ежели с задатком — отчего не взяться... — Он сощурился. — А ты, часом, не тот, что нынче у заставы коней из огня таскал? Ну-у, барин. Тебе — возьмусь и без задатку. Мне про тебя уже два человека рассказали, и оба врали красиво, а ты, гляжу, и впрямь живой.

Слух в этом городе ходил быстрее меня. Полезное свой-

ство — если им управлять.

К третьей лавке я знал, что оружейный заказ нынче велик и казна торопит; что лес вздорожал, потому что «по осени горело много, строятся все»; что страховать товар тут не слыхивали, а вот «погорельную долю» — складчину на случай огня — купцы меж собой держат, да она прохудилась: слишком часто стали черпать. Хлебный ряд жаловался на казённые магазины — «стоят которые при соли, гниют, а чуть что — с нас спрос». Лесной ряд божился, что осенью продал годовой запас за два месяца. Я слушал, кивал, прицеплял цифру к цифре — и у меня в голове сам собой, без спросу, складывался баланс этого города: сколько он горит, сколько платит за то, что горит, и кому это, выходит, выгодно.

Выходило — рублей тысяч на двадцать в год. Минимум. Город платил огню подать больше воеводской — и считал это погодой.

«По осени горело много». Я это уже слышал — от Чекана, от Силыча, от хозяйки. Все говорили одно и то же, и все — с одинаковой интонацией: как про дождь. Горит и горит. Тула, заводы, судьба такая.

Судьба. Ну-ну.

Синица нашёл меня в сумерках у съезда с площади — и по его походке я всё понял раньше слов. Он не шёл — он нёс. Так он носил только очень ценное.

— Барин. — Глаза у него были круглые и тёмные, как у со-

вёнка. — Я познакомился. С троими путёвыми: Ванька-кривой с паперти, Матюха-сбитенщиков сын и девчонка одна, Февронья, у ней мать на торгу метёт... Так вот, они говорят... — Он оглянулся и понизил голос: — Они говорят, тут про петухов — знают. Все ихние знают. Только говорить боятся: которые видели да болтали — тех... — Синица чиркнул пальцем по горлу. — Не до смерти, но били. Серые били, казённые вроде как. И вот ещё что, барин. Ванька говорит: на Ямской, у съезжей, третьего дня петух на воротах был. Утром был — к обеду стёрли. Ванька сам видал, как стирали: двое, в сером, с ведёрком и тряпками. Деловые такие, говорит, как маляры. Прошли по улице — и ещё в двух местах тёрли, он проследил.

— Умный Ванька.

— Умный, — согласился Синица и добавил с законной гордостью: — Я ему за это калач купил. В счёт жалованья.

Мы стояли на краю площади. Над Тулой зажигались первые огни — печные, оконные, кузнечные: город топился на ночь, мирно, по-хозяйски. А где-то в этом мирном городе ходили двое в сером с ведёрком, как маляры, и стирали со стен чужие предупреждения — спокойно, буднично, по службе.

По службе, вот что было самое поганое. У страха, который бьёт мальчишек за болтовню, и у ведёрка с тряпками была одна общая черта: жалованье. Кто-то платил за то, чтобы Тула не умела читать.

— Жалованье твоим — с завтрашнего дня, — сказал я.

— Калачами и копейкой. Задача первая: все стёртые петухи за зиму. Где, когда, кто видел. Задача вторая — и слушай меня, Гришка, как никогда не слушал: про свежих, ежели объявятся, — бегом ко мне, в любой час. И своим накажи: глядеть — издали, болтать — никому. Эти, с ведёрком, — они не маляры.

— Понял, — сказал Синица серьёзно. Он умел быть серьёзным — ровно в тех случаях, когда пахло делом или бедой. Сейчас пахло обоими.

Домой, на постоялый двор, мы шли уже в темноте. У ворот, под фонарём, Бубен с Силычем размечали колышками место под новую конюшню — Бубен руководил, Силыч бегал. Из летней печи пахло завтрашним хлебом. Лушка с хозяйкой гремели вёдрами. Никодим на крыльце читал вечернее, и бас его мешался с конским фырканьем.

А после ужина мы с Бубном сели у той же летней печи — подальше от ушей — и я разложил перед ним на доске наш тульский расклад. Я так привык: всякое дело начинать со сметы, пусть даже смета — три кучки медяков и уголёк.

— Имеем, — сказал я, двигая первую кучку. — Казны походной — сто сорок рублей с полтиной: что от крапивенского откупа осталось за дорогой и обозом. Это всё, Кузьмич. Против долга в тысячу двести.

— Весело, — сказал Бубен.

— Дальше. Имеем восемь человек и трубу, которым в этом городе нет цены, — потому что город горит, а тушить

не умеет. Это товар, старик, и товар в цене: сегодняшний пожар — первый показ. Имеем до Пасхи полсотни дней с хвостиком — а на Пасху Жаров вправе стребовать всё разом... И имеем вот это. — Я положил рядом с медяками уголёк. — Стёртые метки. То, чего в раскладе быть не должно.

Бубен долго смотрел на уголёк.

— Я так понимаю, барин, — сказал он наконец, — ты опять засовываешь нас в дело, которое поперёк нас на три сажени. Нет, я не против, я привыкши. Я только спросить хочу: мы сюда долг платить приехали али воевать?

— Мы приехали строить службу, Кузьмич. — Я сгрёб медяки. — А долг и война — это у нас, как всегда, попутные грузы... Спи. Завтра к девяти — на Миллионную, и сдаётся мне, что торг там будет почище сегодняшнего.

Бубен ушёл, а я спать не пошёл. Взял у хозяйки фонарь со слюдой и вернулся к воротному столбу — к тому, с затёртым гребнем.

Ночью, при косом свете, стёртое читается лучше, чем днём: мел уходит в поры дерева, и сколько ни три рукавицей — поры помнят. Я вёл фонарём вдоль столба снизу вверх, на излом луча, как учат читать затёртые надписи, — и гребень проступил. Петух. А под петухом — зубцы. Я считал их трижды, подушечкой пальца, по бороздкам: семь. Семь зубцов.

— Семь дён, стало быть, сроку давали, — сказал я столбу.

Теперь вопрос на рубль: когда ставлено? Мел по краям уже затёк дорожной копотью — в морозы копоть садится

за неделю-полторы. Ставлено, выходит, дней десять назад. Семь зубцов плюс день-два... Двор Силыча сгорел сегодня — день в день по метке, по расписанию, как приходит почта.

Я стоял у столба, и фонарь у меня в руке не дрожал — руки у меня вообще не дрожат, ремесло отучило, — но внутри всё стояло по стойке смирно. В Крапивне между меткой и огнём я всегда поспевал: уезд маленький, я один — и то успевал. Здесь метку стёрли, двор сжёг «кто-то», и тридцать тысяч душ вокруг считали это погодой. Сколько таких столбов было в Туле за зиму? Синица сказал: стёртых — не счесть, свежих ищем.

— Ничего, — сказал я столбу, гася фонарь. — Расписание у них, говоришь. Это даже хорошо, что расписание. С расписанием, брат, воевать проще, чем с безумием: расписание можно прочесть. А что прочтено — то предупреждено.

Столб промолчал. Но мел под копотью держался крепко — свидетель из тех, что не отказываются от показаний.

Обживаемся, подумал я. Первый день в чужом городе — а уже: кухня, крыша, три приятеля на площади и одна работа на всех.

Завтра к девяти — на Миллионную, к человеку, который купил мой долг.

Засыпая, я по старой привычке прокрутил завтрашний разговор наперёд — все ветки, как учат разыгрывать штабные игры. Ветка первая: Жаров берёт триста и даёт рассрочку — маловероятно, не за тем покупают чужую закладную

втридорога. Ветка вторая: требует всё разом и забирает Горевку — тогда суд, апелляция, сенатская волокита, я её растяну на год, а год мне и нужен. Ветка третья, самая вероятная: ему велено не деньги с меня взять, а меня самого — к ногтю, в службу, в пригляд. Тогда торг, и торговаться надо так, чтобы он сам предложил то, что мне нужно: место внутри его дома...

На этой мысли я уснул. И правильно сделал: как покажет утро, третью ветку я угадал до запятой — не угадал только девицу с горящими глазами, которая в эту ветку вломится без стука. Девиц штабные игры не предусматривают. В этом их главная слабость — игр, не девиц.

А у города этого — хоть он того ещё не знает — с нынешнего вечера появилось то, чего у него не было сто лет: люди, которые будут читать его стены. Все. Даже вытертые.

Глава 2

Дом Жаровых на Миллионной стоял так, как и должен стоять дом первостатейного рода: каменный низ, дубовый верх, кованые ворота с гербом — пылающая палица в червлёном поле. У ворот прохаживался караул в синем с красным. Над кровлей курились четыре трубы разом.

— Богато горят, — одобрил Бубен, которого я взял с собой для солидности и для сдерживания собственного языка. — У нас в Крапивне столько труб на весь посад не сыщется.

В передней меня мариновали час — это я понял и принял: ритуал. Час в чужой передней — не потеря, а подарок: дом за этот час рассказывает о хозяине больше, чем хозяин о себе за год.

Дом Жаровых рассказывал вот что. Прислуга ходила быстро и молча — вышколено, но без забитости: на кухню девка пробежала смеясь, а смолкла только у кабинетной двери. Значит, хозяин лют, но справедлив — при самодурах смеются либо везде, либо нигде. Печи топились берёзой, и вьюшки закрывал истопник по часам, с записью мелком на печном боку — я такого и в Крапивне не завёл, а надо бы. Дважды через переднюю проводили просителей: купца с бумагами — быстро и к секретарю, офицера в партикулярном — медленно и к самому. Значит, деньги в этом доме уважают, а службу — чтут. Полезная разница.

А ещё в передней, на стене против окна, висел план Тулы — старый, захватанный, с пометами. Я встал к нему как бы от скуки — и залип по-настоящему: пометы были пожарные. Кружки с датами, штриховка выгоревших кварталов, стрелки ветров. Кто-то в этом доме годами наносил на план каждый большой пожар. Осьмнадцать кружков за последние семь лет я насчитал в одной только заречной части — и у девяти из них даты ложились на конец месяца.

Я ещё не знал тогда, чья это работа — плана. Узнал позже. И удивился.

В кабинет впустили одного.

Аникей Никодимыч Жаров оказался похож на свой дом: каменный низ, дубовый верх. Шестой десяток, плечи борца, мундир с орденом, седина бобриком. Он стоял у окна, заложив руки за спину, и не обернулся, когда я вошёл, — тоже ритуал.

На столе, развёрнутая ко мне, лежала закладная. И столбики. Те самые, сквозняковские: девятьсот — и тысяча двести к Пасхе.

— Горев, — сказал Жаров окну. — Степан, Никитин сын. Пожарный староста города Крапивны. — Он выговорил «пожарный староста» так, как выговаривают «уездный скоморох». — Явился, стало быть.

— Явился, ваше высокоблагородие.

— Деньги привёз?

— Триста по крепости — привёз. Остальные девятьсот

желаю оспорить судом либо отслужить. На выбор вашего дома.

Вот теперь он обернулся. Посмотрел на меня — тяжело, по-хозяйски, как смотрят на лошадь, которую навязали в придачу к нужной: и брать противно, и бросить жалко.

— Судом, — повторил он. — Ты в Туле, недоросль. Здесь суд... — он усмехнулся в усы, — здесь суд уважает старые рода. А отслужить... Мне доносили, ты в своей Крапивне чудеса творишь. Трубы, дозоры, каланча. Воевода ваш на тебя не нахвалится — с перепугу, полагаю.

Он прошёл к столу, сел, кивнул мне на стул — уже что-то.

— Так вот, Горев. Мне в моём городе чудотворцы не надобны. У меня пожарный дом — полтораста человек, двенадцать труб, устав от деда писан. Тула горела и гореть будет, на то она Тула: заводы, кузни, уголь. Мы горим — но горим порядком. Понял? По-ряд-ком. А ты со своими ярмарочными фокусами...

— Вчера на Крапивенской дороге, — сказал я, — ваш порядок вёдрами в огонь плескал. Конюшню мы вынесли вашим порядком или нашими фокусами — спросите майора Чекана, он смотрел.

Сказал — и приготовился к буре. Но Жаров не вспыхнул. Жаров побарабанил пальцами по столбикам и посмотрел на меня с новым выражением — так смотрят на лошадь, которая вдруг заговорила: брезгливость осталась, но появился интерес.

— Дерзкий, — констатировал он. — Мне писали, что дерзкий... Ладно. Слушай условие, Горев, и слушай один раз. Девятьсот рублей роста я тебе, так и быть, положу отслуживать. Пойдёшь в мой пожарный дом. Не начальником — начальников у меня своих довольно. Трубным унтером пойдёшь, под майора Чекана. Жалованье — как всем. Из жалованья долг буду вычитать... лет, стало быть, за восемь управишься.

Восемь лет. В чужом дому, под чужим уставом, на вычете. Красиво придумано — и, судя по гладкости, придумано не здесь. Эта арифметика пахла Петербургом и тёплой печкой.

— А Горевка?

— А Горевка постоит заложенная. Куда ей деться.

Он смотрел на меня и ждал. И я уже открыл рот — у меня было что сказать про тульский суд, про сенатскую апелляцию и про купеческий обычай, я зиму не зря просидел над уложениями, — когда дверь кабинета отворилась без стука.

— Папенька, у вас тут, говорят, тот самый гасильник, который... — Голос запнулся. — О. Действительно он.

Я встал — положение обязывало.

Девица, вошедшая в кабинет, была из тех, кого описывать — только портить: высокая, тёмная, с отцовскими скулами и совершенно не отцовскими глазами, в которых горело — буквально. Я видел такое второй раз в жизни: у поручика Кострова, когда тот жёг доску. Огневичка. Сильная.

— Аглая! — рыкнул Жаров. — Я занят!

— Вижу, папенька. — Она обошла меня кругом, как обходят ярмарочного медведя, разглядывая без всякого стеснения. — Так вот ты какой. А в Крапивне, сказывают, ты голыми руками угли берёшь. Покажи.

— Аглая!!

— Что — Аглая? Мне любопытно. У нас весь корпус об заклад бьётся, правда или врут.

Она прошла к камину — камин в кабинете горел жарко, по-хозяйски, — и, не глядя, повела ладонью. Пламя в камине встало на дыбы, выгнулось и лизнуло воздух перед самым моим лицом — я почувствовал, как затрещали брови.

— Ой, — сказала Аглая без малейшего раскаяния. — Не отойдёшь? Все отходят.

Я не отошёл. Стоял и смотрел на неё сквозь рыжую плеть, которая плясала в полуладони от моего носа, и пламя — я чувствовал это всей кожей — пламя у моего лица стало проседать, тянуться ко мне, глохнуть, как глохнет крик в подушке.

Аглая сощурилась. Поддала. Я выпил ровно столько, сколько она поддала, — тихо, без лица, как пьют на спор.

Так мы и стояли, наверное, секунд десять: она — с рукой в огне, я — с огнём у лица, и между нами, в этой рыжей дрожащей плети, шла первая наша беседа, вполне содержательная.

— Любопытно, — сказала она наконец, и плеть опала. — Ты же его не давишь. Все, кто против огня, — давят, я это

чувствую, как будто дверь на тебя толкают. А ты... — она поискала слово и нашла, по-моему, точнее всех книжников, — а ты его выслушиваешь. И он затыкается сам. Это как вообще?

— Это долго объяснять, Аглая Аникеевна.

— А я никуда не тороплюсь.

— Зато я тороплюсь! — Жаров грохнул ладонью по столу так, что подпрыгнули столбики. — Девка, уймись! Горев! Условие слышал. Ответ — завтра. Всё, оба вон!..

В дверях Аглая обернулась:

— Отойди, водолей, — сказала она негромко, с совершенно новой интонацией — задумчивой. — Не мешай красоте гореть... Так у вас в Крапивне говорят?

— У нас в Крапивне говорят: не стой под стрелой, — сказал я. — И под балкой. Красота — она чаще всего сверху падает.

А в передней меня ждали.

В кресле у печи — у самой печи, вплотную, греясь, — сидел, сложив ручки на коленях, сухонький человек в сером. При моём появлении он поднялся и просиял навстречу, как родному:

— Степан Никитич! А я уж заждался. Как доехали? Зимник нынче — мука мученическая...

— Вашими молитвами, Ефим Ильич.

— Моими, моими, — охотно согласился Сквозняков. —

Я ведь что, я по пустячку. — Он приблизился и понизил голос до доверительного: — Тетрадочку-то привезли? Батюшкину? Граф, изволите знать, ждёт не дождётся. Прямо истосковался граф по пожарной словесности.

Я молча достал из-за пазухи и подал.

Тетрадь в кожаном переплёте. Толстую, разбухшую, с застиранным пятном на задней крышке.

Ефим Ильич принял её с нежностью. Огладил переплёт — и пальцы его на корешке задержались. На полмгновения дольше, чем гладят: так щупают монету, которой не доверяют. Потом открыл — и стал листать: неспешно, странично, с лицом человека, перебирающего наследство. Я ждал. Зимой, в кузне, мы с Ерофеем убили на эту тетрадь три недели: кожа — от старого требника, бумага — вылежанная на чердаке, копоть, воск, сальные пятна. Почерк отца я ставил себе два месяца, по его листам, прописью, страница за страницей, пока рука не перестала думать.

Внутри было всё: журналы, ветра, «отнял», «опоздал». Всё — кроме правды. Ни «росписи», ни меток, ни последней страницы.

Сквозняков долистал до конца. До той самой последней страницы — чистой.

— Надо же, — сказал он ласково. — А мне помнилось... — Он поднял на меня глаза, голубенькие, блёклые, с самым тёплым участием. — Мне помнилось, Степан Никитич, что на последней-то страничке у Никиты Никитича было писа-

но. Крупно так. С нажимом. Неужто запамятовал я, старый?

Семь лет назад он читал её при свече, ночь напролёт. Конечно, он помнил. Он проверял меня — и проверял сейчас, глядя мне в лицо своими блёклыми глазками, в которых не было ничего, кроме внимания.

— Была страница, — сказал я спокойно. — Я её сжёг.

— Сожгли-с?..

— Сжёг. Там отец писал про петуха, который трижды приходит. Я такое в доме держать не захотел — у нас в уезде, сами знаете, народ пуганый. Сжёг, перекрестил печь и спать лёг.

Пауза была длиной ровно в удар сердца.

— И правильно! — просиял Ефим Ильич. — И по-хозяйски! Суеверия — их в печь, в печь... — Он спрятал тетрадь куда-то в недра шубы, и она исчезла там, как в проруби. — Ну-с, не смею задерживать. Да, кстати. — Он уже повернулся уходить и обернулся, по своему обыкновению, на пороге: — Угольщика вашего... то есть, простите, батюшку... то есть, ах, что ж я путаю всё, — петуха вашего крапивенского здесь, в Туле, видали. Намедни. Так что вы уж поосторожнее по ночам, Степан Никитич. Город чужой, тёмный.

И вышел, оставив меня стоять посреди жаровской передней.

Угольщика вашего. То есть батюшку. То есть петуха.

Он не оговорился. Такие не оговариваются. Он уронил три слова, как роняют приманку в лунку, и ушёл смотреть,

дёрнется ли леска.

Я стоял и держал лицо. Лицо я держать умел — спасибо двум жизням. Но под лицом, глубоко, там, где я полгода хоронил одну невозможную, запретную, ни разу не произнесённую вслух мысль — про гроб, в котором «кто разберёт», про «Горевы своих не жгут», про ладони в тёплой золе родного очага, — под лицом у меня всё встало дыбом, как пламя под ветром.

Батюшку.

Он сказал — батюшку.

Бубен, прождавший меня всё это время в людской, по дороге домой доложил свою разведку — у старика была своя манера работать с чужими домами: он садился поближе к печке, стучал костылём, жаловался на ногу и давал дворне себя жалеть. Дворня за жалостью выбалтывает больше, чем за деньги.

— Значит, так, барин. Серенький этот у них с осени живёт — не гостит, жи-вёт: ему горницу топят особо, он до тепла жадный. Дворня его не любит, а боится, и боится не полюдски: не что ударит или наушничает, а... Ульяна-ключница сказала: «от него, батюшка, в доме стыло». Во как... Дале. Барышня ихняя — дворня за неё в огонь и в воду: она у них одна живая во всём доме, с тех пор как барыня померла. Старик сам — крут, да отходчив, руки не распускает, за дворню на улице горой... А вот чего я тебе самое главное скажу,

— Бубен понизил голос до заговорщицкого грома, слышного на полквартала: — План в передней видал? Пожарный который? Дворня говорит — барышнина работа. Она его годов с двенадцати ведёт. Заберётся, говорят, на каланчу к дозорному — и глядит, и помечает. Старик орал-орал, да рукой махнул... Понял, нет? Я, барин, в домах понимаю: дом — он как лафет, по трещинам видать, куда стрелять станет. Так вотэтот дом — он не ихний, не серенького. Этот дом ещё наш будет.

Старый разведчик, как всегда, оказался прав по всем пунктам. Только про сроки ошибся: дом стал нашим раньше, чем он думал.

Условие Жарова я принял на следующее утро. К большому удивлению своих.

— Унтером? — Бубен даже костылём пристукнул. Костыль он, к слову, таскал уже больше для весу: нога срослась, но с костылём выходило солиднее. — Под чужого майора? Барин, да ты в Крапивне сам себе голова был!

— В Крапивне, Кузьмич, я и останусь голова — Фаддей там за меня. А здесь мне надо быть внутри. — Я загнул пальцы: — Внутри жаровского дома, который тушит этот город. Внутри города, где стирают метки. И поближе к людям, которые «велели стирать». Снаружи я буду год присматриваться. Изнутри — месяц.

— А долг?

— А долг, старик, это моя подорожная. Пока я его отра-

батываю — я для них свой, понятный, занятой человек. Занятой человек безвреден. — Я усмехнулся. — Один умный человек в сером так считает. Пусть считает дальше.

Так я стал трубным унтером жаровского пожарного дома. Восьмым унтером из восьми, если по старшинству. Последним — опять последним, четыре тысячи сто семнадцатым, — и эта арифметика меня даже взбодрила: с последнего места я уже стартовал, дорожка знакомая.

Жаровский пожарный дом стоял за Миллионной: каменные конюшни, каланча — настоящая, старой постройки, выше моей крапивенской, — двенадцать труб в ряд под навесом. Полтораста человек по спискам.

По спискам.

Первую неделю я молчал и смотрел — как учили: пришёл в чужую часть, закрой рот, открой глаза. Насмотрелся.

Трубы — двенадцать, красавицы, голландские и аглицкие. Из них в ходу — четыре: у остальных пересохла кожа, и никто не удосужился. Кони — двадцать, из них к выезду приучены — шесть. Рукава — гнилы на сгибах, и чинили их внахлёст, дратвой, отчего на каждом шве труба теряла струю. Багры стояли в козлах некованые с прошлого царствования. Зато медные шишки на касках дневальный драил каждое утро до солнечного сияния: смотр у них тут бывал дважды в год, а пожар — дважды в неделю, и готовились, естественно, к смотру.

Люди... Люди были всякие. Был майор Чекан — служака до мозга костей, который один тащил на себе весь дом и знал это. Был смотритель обоза Опара — опухший, трясущийся, с вечным луковым духом, которого держали «за прежние заслуги». Были унтеры — семеро, не считая меня: двое справных, один вор при фураже (это я понял по конским рёбрам в первый же день), остальные — никакие, из тех, что служат от жалованья до жалованья. Из справных один стоил всех: рябой здоровяк по прозванию, понятно, Рябой, из солдатских детей, глотка — труба иерихонская, руки — клещи. Он один на весь дом орал на людей за дело, а не для порядка, и люди это, как ни странно, различали. Было десятка три справных мужиков, которым никто никогда ничего не объяснял. И было сто человек мёртвых душ, числившихся для жалованья.

Кормили людей при доме так, что я в первый же обед понял половину здешних бед: котёл был один, кашевар — из наказанных, по очереди, и щи его можно было смело лить в трубу вместо воды — огонь бы обиделся и ушёл сам. Человек, которого кормят помоями, за чужое добро в огонь не полезет. Это закон, и он старше всех уставов.

Обедать я, к слову, сел с рядовыми — в первый же день, с общего котла, и этим нечаянно произвёл переполох больше, чем всеми будущими реформами. Унтерам полагалось столоваться особо, при писарской, с приварком; новый унтер с миской у общего котла был нарушением миропорядка, и смена ела молча, кося на меня, как кони на волка. Рябой

не выдержал первым:

— Тебе, вашбродь, видать, не сказали: господам унтерам у нас — там. — Он мотнул бородой на писарскую. — Тут хлебаем мы, подлое сословие.

— Сказали. — Я доскрёб миску и поглядел на него. — Только у меня правило, ещё крапивенское: начальник ест то же, что люди, и после людей. Начальнику это полезно для соображения. Вот нынче я, к примеру, сообразил, что вашего кашевара надо гнать, котёл — лудить, а приварок унтерский — делить на всех: с таких щей не то что в огонь — с печи лезть не захочешь.

Смена перестала жевать вся разом. Рябой открыл рот, закрыл, подумал и высказался за всех:

— Ну, это... Это ты, вашбродь, поперёк всего сказал. — И добавил с внезапным уважением: — Складно. Против щей ещё никто не заходил. Всё больше с устава начинали.

С устава. То-то и оно, братцы. Устав человек терпит, а щи он ест каждый день.

А главное — был устав. «От деда писан». По уставу выезжали так: дозорный на каланче, узрев дым, бил в колокол; дежурный унтер бежал к брандмейстеру; брандмейстер — буде трезв — посылал к майору; майор решал, которой части выезжать, и писал записку. С запиской скакали обратно. Запрягали.

Я проверил по песочным часам, будь они неладны (часов с пружиной мне в этом веке ещё заслужить надо): от дыма

до выезда — сорок минут. Сорок. В Крапивне мои выезжали за две.

— Господин майор, — сказал я Чекану в конце первой недели. — Дозвольте вопрос. Сколько дворов сгорает за сорок минут?

Чекан посмотрел на меня долгим взглядом старого служаки, который сам всё знает.

— По уставу положено... — начал он казённо. И махнул рукой: — Весь, унтер. Весь двор сгорает. Мы, почитай, завсегда к головешкам поспеваем. Зато, — он поднял палец, и в голосе его прозвучала такая древняя, такая выношенная горечь, что я понял: этим пальцем он тычет не в меня, а в двадцать лет своей службы, — зато по порядку.

— А если без записки?

— А если без записки, унтер, — сказал Чекан, — то их высокоблагородие с тебя снимет голову. У нас тут один такой был, без записки. Где он теперь? В обозных смотрителях, луком закусывает. Понял, нет?

Я оглянулся на Опару. Опара, поймав мой взгляд, торопливо отвернулся и стал протирать рукавом медяшку.

Вот тебе и «пьяница за прежние заслуги». Был, значит, и здесь свой человек, который выезжал без записки. Двадцать лет назад.

В тот же вечер я зашёл в обозную. Опара сидел у фонаря, чинил хомут — руки, кстати, работали чисто, без дрожи: дрожали они у него только на людях — и при моём появле-

нии привычно потянулся к луковице на столе, занюхать ещё не выпитое.

— Сиди, — сказал я. — Я по делу. Четвёртая труба: кожа пересохла, но швы живые. Отмочить, прожировать — встанет в строй?

Опара посмотрел на меня поверх хомута. Глаза у него были — как у старой караульной собаки: всё понимает, ничего уже не ждёт.

— Встанет, — сказал он сипло. — За три дня... Только кому вставать-то, унтер? Ей сорок минут до пожара ехать. Она хоть новая будь, хоть золотая.

— А если без записки?

Он аккуратно, очень аккуратно положил хомут. И сказал — тихо, без пьяни, трезвее трезвого:

— Ты вот что. Ты это слово при мне не говори, крапивенский. Я за это слово двадцать лет луком закусываю... Иди себе. Трубу — отмочу, не твоя печаль.

Я ушёл. И уносил с собой две вещи: что труба будет жить — и что человек, который двадцать лет пьёт после одного-единственного выезда без записки, пил не от стыда. От стыда столько не пьют. Столько пьют — от того, что тогда, двадцать лет назад, он оказался прав, и этого ему не простили.

Надо было поднимать его историю. Я чуял в ней ключ от половины этого дома.

А в конце той же недели я выпросил себе ночное дежур-

ство на каланче — унтеру оно было не по чину, дежурили рядовые, и Чекан, выписывая наряд, поглядел на меня, как на блаженного: «Сам? На вышку? В мороз?.. Ну-ну. Крапивенские забавы».

Мне нужна была не вышка. Мне нужен был город — сверху, ночью, целиком.

Будку на вышке я первым делом отгрёб от снега и законопатил — полчаса работы, а дозорному после меня жить. А потом стоял до света и смотрел, как дышит Тула. Город ночью честнее себя дневного: днём он показывает вывески, ночью — печи. Вот слободы — топятся ровно, уголья к полуночи, всё путём. Вот завод — дышит в три смены, окна литейной ходят заревом, но зарево правильное, рабочее: его отличаешь по ровности, как пульс. Вот купеческие улицы — там к полуночи всё черно, купец огня на ночь не держит, боится... А вот — я засёк это во втором часу — на Посольской, в наёмном доме, топили. Жарко топили, не по-ночному: дым из двух труб, густой, берёзовый. Кому это не спится при двух печах разом?.. Я тогда ещё не знал, чей это дом. Узнал через неделю — и не удивился.

Под утро, слезая с вышки, я встретил у конюшен Чекана — тот проверял караулы, он их проверял всегда сам, старая гвардейская закалка.

— Ну? — спросил он с усмешкой. — Насмотрелся? Чего высмотрел-то, полуночник?

— Высмотрел, Пётр Саввич, что дозорный с этой вышки

видит полгорода. А второй половины — заречной — не видит никак: собор заслоняет. Случись за Упой — узнаем по большому зареву, когда поздно... Вам бы вторую вышку, на заречной колокольне: посадить туда хоть мальчишку с рожком...

Чекан перестал усмехаться.

— Двадцать лет тут служу, — сказал он медленно. — И двадцать лет заречные пожары мы берём к шапочному разбору. Я думал — судьба такая у заречья... — Он посмотрел на меня долгим взглядом. — А ты за одну ночь с вышки слез — и на́ тебе... Ладно, унтер. Пиши записку про колокольню. Подам как свою — тебе по чину не положено, а мне, глядишь, в кои веки спасибо скажут.

Так у нас с майором Чеканом завёлся первый общий секрет. С общего секрета, если кто не знает, начинается всякая настоящая служба.

Со своими я сговорился так: через неделю команда — Бубен, Никодим, Ерофей, Лушка — перебралась с тракта поближе к службе, на подворье вдовы-солдатки за Оружейной слободой, и там же, в сарае, поселилась Голландка. У Силыча остались столоваться по воскресеньям — хозяйка не отпустила бы нас иначе с миром. Официально подворье значилось «обозом крапивенского старосты на зимовке». Неофициально это была моя вторая часть — свободная от устава и записок.

А Синицына сеть к той поре уже доносила вовсю, и счёт стёртым петухам шёл на десятки. Вечерами Гришка расстилал передо мной свою дрань с угольными записями, и два счётчика тикали во мне наперегонки: до Пасхи — сорок один день, а в городе, где стирают предупреждения, каждая неделя стоила дворов.

И где-то в этом чёрном чужом городе был тот, кто метки ставил. «Угольщик. То есть батюшка». Живой — если то, что от него осталось, можно так называть и если зябкая сволочь не соврала.

Проверим. Я за обе жизни усвоил: самое страшное — не проверить.

А на исходе той недели Тула сама показала мне, почему её нельзя было оставлять жаровскому уставу.

Я стоял дневальным по обозу — унтерская лямка, всё по чину, — когда на каланче ударили. Раз, другой — и зачастили: большой дым. Я взлетел на вышку сам: от Оружейной слободы, от заводских корпусов, валило чёрным — густым, жирным, масляным чёрным, какой даёт только горящее масло или смола.

Завод. Горела ствольная фабрика — сердце этого города, то, ради чего Тула вообще стоит на свете.

Внизу уже бежали. Дежурный унтер — к брандмейстеру. Брандмейстер, на бегу застёгиваясь, — к майору. Майор...

Я посмотрел на это ещё две секунды.

Сорок минут. У них — сорок минут по уставу. У фабрики, набитой маслом, стружкой и готовыми стволами, не было сорока минут. У неё, по дыму судя, не было и пятнадцати.

— Опара! — заорал я вниз, с вышки, через весь двор. — Четвёртую и седьмую трубы — запрягай!! Бочки — все! Без записки — под мою голову!!

Опара — опухший, трясущийся Опара — одну секунду смотрел на меня снизу вверх. Всего одну.

А потом развернулся и заревел на конюшни таким голосом, что стало ясно: двадцать лет назад этот человек был лучшим брандмейстером губернии.

— ЗАПРЯГА-АЙ!!!

Глава 3

До завода мы долетели за восемь минут — я, Опара, две трубы, четыре бочки и дюжина мужиков, которые ещё не поняли, что едут против устава, зато отлично поняли, что едут на завод.

Завод — это было слово, которое в Туле понимали все. На заводе у половины города работала родня.

Про эти восемь минут надо сказать отдельно, потому что они были первым чудом того дня — а я чудес не люблю и потому объясню. Опара, взревев «запрягай», дальше не командовал — он дирижировал: кому какую пару, кому какой ход, бочки — на полозья, не на колёса, «по снегу полозом шибче!» — и сорокаминутный жаровский выезд сложился в шесть минут двора, потому что человек двадцать лет держал всё это в голове и ждал. Ехали — стоя, в грохоте, Опара впереди на первой трубе, без шапки, и орал встречным так, что сани сами выжимались к обочинам: «Дор-рогу!! Завод горит!!» Я оглянулся на своих мужиков — на дюжину случайных обозных, которых я минуту назад втянул в нарушение устава, — и увидел на их лицах то самое, ради чего стоит жить: азарт. Не страх перед начальством — азарт людей, которые едут делать настоящее.

Устав можно переписать за неделю. Вот это — лица эти — строится годами. А тут оно, выходит, лежало готовое, при-

сыпанное пеплом, и ждало искры.

Ствольная фабрика — длинный каменный корпус с деревянными перекрытиями — горела с дальнего торца, там, где сверлильни: масло, стружка, сало для закалки. Из ворот валил народ — мастеровые выбегали десятками, кашляя, таща друг друга, и это было хорошо. Плохо было то, что часть из них, выбежав, разворачивалась и лезла обратно.

— Куда?! — Я поймал за ворот чумазого детину. — Куда лезешь?!

— Тама Прошка! — рванулся он. — Ученик мой! К ларю побёг, жалованье прятано!.. И стволы государевы! Нам за стволы — каторга!

Вот она, вечная арифметика пожара: жалованье в ларе, каторга за казённое — и жизнь, которая дешевле обоих.

— Стволы твои — железо, в огне полежат — целее будут! Опара! Трубы — на угол, режь огонь от сверлилен к литейной! Бочки в цепь, там пруд заводской! Ты, — я тряхнул детину, — показывай, где ларь и где твой Прошка. Со мной пойдёшь, понял? Не вперёд меня — со мной!

Уголь — третья ступень — до того дня я пробовал украдкой: войти в горящий сарай, досчитать до десяти, выйти. Пот, страх, дрожь в коленях — но огонь держал меня, как держит вода умеющего плавать.

В тот день пришлось плыть по-настоящему.

Мы вошли в корпус через малые ворота — я впереди, детина, обмотанный мокрой дерюгой, в затылок. Внутри стоял

рыжий гудящий ад: горели перекрытия, горело масло в желобах, по полу бежали огненные ручьи, красивые до одури. Жар был такой, что у детины за моей спиной трещала дерюга, — а я шёл, и огонь передо мной проседал, расступался на полшага, нехотя, зло, но расступался. Я чувствовал его всем телом — как чувствуешь толпу: где давит, где поддаётся, где сейчас рухнет.

«Ходишь в огне», — писал отец против третьей ступени. Хожу, батя. Докладываю: хожу.

На полпути к ларю мы споткнулись о живого. У стены, между опрокинутых козел, ползал на четвереньках старик — я сперва принял его за горящую ветошь: седой, в тлеющем фартуке, он методично шарил по полу руками. Шлифовщик, как потом выяснилось, — глухой, как все старые шлифовщики, набата не слышал, дыма не видел за работой, а когда увидел — очки потерял и ослеп в дыму вовсе.

— Очки!.. — хрипел он, отбиваясь от нас. — Казённые!.. Пусти, ирод, без них куды я!..

Я нашарил сапогом его оловянные очки, сунул ему в кулак — и только тогда он дался. До малых ворот было десять шагов; я доволок его, вытолкнул в руки мужикам у трубы и вернулся к детине, который приплясывал у стены в своей дерюге. Человек — удивительная скотина: в аду, в двух минутах от смерти, старик горевал о казённых очках за гривенник, потому что за очки — вычет, а смерть — она вон она, привычная, каждый день под фартуком.

Прошку нашли у ларя — куда ж ещё. Мальчишка лет четырнадцати сидел, вжавшись между ларём и станком, уже не кричал — сипел. Детина сгрёб его в охапку вместе с дерюгой. На обратной дороге нас накрыло — рухнула балка, перегородив проход, и огонь встал стеной.

И я эту стену выпил.

Не всю — всю бы не унёс. Я выпил проход: три сажени огня, одним длинным глотком, как пьют на спор, — и мы прошли по чёрному дымящемуся коридору, и за спиной стена сомкнулась снова.

Наружу я вышел, светясь. В прямом смысле: от ладоней шёл пар, рукава тлели, и мужики у труб шарахнулись. Жар толкался во мне, искал выхода — я дошёл до заводского пруда и слил его в прорубь, и прорубь час стояла незамерзающая, курясь, как котёл.

А трубы работали. Опара — Опара, двадцать лет пивший за то, что когда-то выехал без записки, — стоял на расстановке, как бог войны: две струи резали огонь от сверлилен, цепь с бочками качала от пруда — и цепь эту стоило видеть. В неё встал завод: мастеровые, не дожидаясь команд, выстроились от проруби в четыре нитки, и вёдра летели по рукам со скоростью, какой я не видел ни на одном учении, — потому что никакое учение не заменяет одного: люди тушили своё. Свой заработок, свой цех, своих. Старый мастер в прожжённом фартуке, стоявший в цепи рядом с собственным внуком, прохрипел мне, когда я пробегал мимо: «Ты, главное, скажи

куда, начальник! Лить мы и сами умеем — ты говори ку-да!» — и в этой фразе было больше понимания пожарного дела, чем во всём жаровском уставе: толпа становится силой в ту секунду, когда у неё появляется «куда».

Фабрика — главный корпус, литейная, склады — фабрика устояла. Выгорел дальний торец. Четверть корпуса. Ни одного покойника.

Когда дотушивали, прибыл жаровский дом в полном составе — сорок три минуты от дыма до места, я засёк: сорок уставных на выезд да три на дорогу. Супротив наших восьми. Впереди на коне — майор Чекан с запиской в руке.

Он подъехал, оглядел пепелище, дымящуюся прорубь, Опару у трубы — Опара вытянулся и ел его глазами, как на смотру, — и меня, обгорелого, с паром из рукавов.

— Унтер Горев, — сказал Чекан казённо. — За самовольный выезд без приказа — под арест. На сутки.

Помолчал и добавил тем же казённым голосом:

— А за фабрику... — Он посмотрел на главный корпус, целый, чёрный по торцу. У майора Чекана на заводе работали два сына, я потом узнал. — За фабрику — спасибо, сынок.

И поехал писать рапорт.

Опару, когда отъезжали, я нашёл у труб — он домывал и досуха вытирал обе, сам, не доверяя никому, как обихаживают коня после первого боя. Руки у него больше не тряслись. Совсем. Я встал рядом, подал ветошь.

— Ты вот что, унтер, — сказал он, не поднимая головы от

медяшки. — Ты не жди, что я тебе спасибо скажу. Не скажу. Потому как ежели я начну — я, старый дурак, реветь буду, а мне перед людьми нельзя, мне с ними завтра работать... — Он выпрямился, оглядел трубу, двор, мужиков, грузивших рукава, и закончил другим голосом, строевым: — Четвёртая к утру будет в полной исправности. Седьмую переберу к середе. Дозволишь — возьму в помощь двоих, какие нынче у пруда качали: руки правильные.

— Бери, брандмейстер.

— Я не брандмейстер, я... — Он осёкся. Посмотрел на меня. И повторил — медленно, пробуя слово на вес, как пробуют мост: — Брандмейстер. Ну да. Стало быть, так: исполню, господин унтер.

И исполнил. И седьмую перебрал к середе, и двоих тех выучил, и до самой своей смерти — а умер он через одиннадцать лет, брандмейстером алексинским, на посту, при смотре — ни разу больше я не видел его рук трясущимися. Про то, что человек ломается один раз, врут. Чинится он тоже — один раз. Надо только, чтобы было обо что.

Арест я отбывал в караулке пожарного дома, и это были не худшие сутки: отоспался впервые за месяц. К вечеру в оконце постучали, и в караулку — мимо остолбеневшего часового, который не нашёл в уставе параграфа против брандмайорской дочки, — вошла Аглая. С корзиной.

— Арестантам положено, — сообщила она, выгружая на

стол пирог, полголовы сахару и штоф чего-то тёмного. — У нас в роду так заведено: кто фабрику спас, того кормят. Даже если он водолей и колодник.

— А брандмайор знает про заведение?

— Брандмайор, — Аглая уселась напротив, подперев щёку, — брандмайор второй час орёт на Чекана, что тот тебя мало посадил. А ещё папенька нынче подписал представление: Опару — обратно в брандмейстеры. Орал при этом так, что стёкла дрожали. Он всегда орёт, когда делает правильное, — чтоб никто не подумал, будто он подобрел.

Она отломила от пирога — себе, по-хозяйски, — и посмотрела на меня своими горящими глазами. Внимательно.

— Теперь говори ты, крапивенский. Только не ври — я по дыму вранья скучаю редко. Что ты делаешь в нашем городе? Долг, служба — это всё шелуха, это я вижу. Ты ходишь по Туле, как по чужому пепелищу: всё щупаешь, всё считаешь. Твои мальчишки шныряют по слободам и переписывают стёртых петухов. Да-да, я знаю про петухов — я, в отличие от папеньки, слушаю, что говорит город, а не что докладывает Чекан... Зачем ты здесь, Горев?

Я смотрел на неё и считал — старой привычкой, за и против.

Против: дочь брандмайора, которому я должен девятьсот рублей. Род, который купил мою закладную по письму из Петербурга. Чужая, огневая, родовитая — всё, что по эту сторону росписи меня топтало.

За: она пришла в караулку с пирогом. Она знает про петухов. Она слушает город. И в кабинете, когда её пламя глохло у моего лица, она не испугалась и не обозлилась — она заинтересовалась. Люди, которым интересно, — мой народ, из них состоит всё, что я в жизни построил.

И ещё одно за, самое тяжёлое: мне в этом городе катастрофически не хватало союзника наверху.

Но за и против — это одно, а служба — другое. А служба учит: открываться — только проверенным, проверять — только делом, и никогда не отдавать всё за один раз. Даже за пирог.

— Половину скажу, — сказал я. — Вторую — докажу, тогда и доскажу. Уговор?.. Я считаю, что город ваш горит не как бог даст. Что в пожарах ваших есть порядок — только не жаровский. И что кто-то очень не хочет, чтобы этот порядок читали, — оттого и стирают со стен то, что ты зовёшь петухами. Вот тебе половина. А теперь ответь ты: распоряжение стирать — «дабы не плодить суеверий» — из чьей канцелярии вышло?

Аглая сощурилась — она заметила, что я торгуюсь, и, по-моему, именно это ей понравилось:

— Из губернской. С осени. А привёз его и по частям развёз... — она усмехнулась, — тот самый человечек, которого ты в нашей передней видал. Серенький, петербургский. Сам развозил, лично, — большая честь для бумажки о «суеверных художествах», не находишь? Папенька его терпеть

не может, а терпит. Я спрашивала почему. Папенька сказал: «Не твоего ума». А когда папенька говорит «не твоего ума» — это значит, он сам боится. Я папеньку знаю, как печку в своей комнате: с рождения.

Серенький. Мерзлявый. С осени — у жаровской печки. Половинка к половинке: моя — к её.

— А вторая половина? — спросила Аглая. — Которую докажешь?

— За второй приходи, когда докажу. Недолго ждать: дело уже поставлено.

— Торгуешься, — констатировала она с удовольствием. — С Жаровыми. В караулке. Сидя под арестом... Знаешь, что я тебе скажу, водолей? Папенька считает, что Тула горит порядком. Чекан считает, что Тула горит по воле божьей. Один ты, похоже, считаешь что-то третье — и вот что смешно: за всю мою жизнь ты первый, у кого счёт, кажется, сходится с моим. — Она встала, отряхнула крошки. — Доказывай своё «дело», крапивенский. И попробуй только доказать без меня.

— Вы и в долю не напрашиваясь входите, Аглая Аникеевна?

— Я ж Жарова, — сказала она от двери. — Мы, Жаровы, в дверь не просимся. Мы глядим, где горит, — и входим... А город про тебя, Горев, говорит много. И знаешь, — она прищурилась на прощание, — говорит всё интереснее.

Наутро арест мой превратился в приёмный день — это стало ясно к полудню, когда часовой у караулки перестал спрашивать «к кому» и начал просто считать входящих.

Первыми пришли мастеровые. Человек десять, во главе — тот самый детина, Кузьма, чьего ученика Прошку мы выволокли из-под ларя. Они ввалились в караулку, тесня друг друга и комкая шапки, надышали морозом — и Кузьма, побагровев от торжественности, развернул холстину.

— Прими, барин. От ствольного цеху. Миром делали, по ночам, три ночи.

На холстине лежал пистоль.

Я в оружии той эпохи понимал к тому времени ровно столько, сколько положено пожарному: стреляет, заряжается долго, в избе от него больше дыму, чем толку. Но тут понимания не требовалось — тут требовалось зрение. Ствол отливал синим, глубоким, зеркальным — тульская воронёная сталь, про которую я уже слышал от Ерофея благоговейный шёпот. Замок — резной, с насечкой. Рукоять — вишнёвая, в медной оплётке. А по стволу, золотой всечкой, шла надпись — по-старинному, с твёрдыми знаками на концах:

«ОТЪ ТУЛЬСКИХЪ МАСТЕРОВЪ — ТОМУ, КТО ВХОДИТЪ».

— Тому, кто входит, — повторил я вслух.

— Ну а как же. — Кузьма переступил с ноги на ногу. — Мы ж все видали. Все, кто в цеху был. Как ты в огонь-то... вошёл. Мы, барин, железо каждый день калим, мы знаем,

что в огонь не входят. А ты вошёл. Стало быть... — он поискал слова и закончил просто: — Стало быть, надпись верная. Носи.

Я взял пистоль с холстины — он лёг в руку, как будто с неё и снят был, — и понял, что говорить сейчас ничего не надо. Мужикам, которые три ночи, после смены, тайком от приказчиков, резали золотом по стали, — им не слова нужны. Им нужно, чтобы взял и носил.

— Благодарствую, ствольный цех, — сказал я. — Носить буду. Стрелять выучусь — у вас же.

— А чего учиться-то! — обрадовался Кузьма. — Пошли на вал, у нас там испытательное стрельбище! Мы и заряд взяли!

— Он под арестом, ироды, — казённо напомнил часовой.

— Та-ак... — Кузьма поскрёб затылок. И нашёлся: — А ежели под конвоем?

Конвоем вызвался быть майор Чекан — он как раз заглянул «проверить арестанта» и застрял, разглядывая пистоль с лицом человека, которому показали чужую невесту. На вал мы шли процессией: арестант, конвой в чине майора, десять мастеровых и Синица, материализовавшийся из ниоткуда при слове «стрельбище».

Стреляли до сумерек.

Выяснилось занятное. Тело моё — молодое, чужое — сроду не держало оружия. Зато голова... голова держала. Та жизнь: ведомственные стрельбы, наградной ПМ, который я

терпеть не мог и из которого, тем не менее, выбивал своё. Дыхание, стойка, ровная мушка, плавный спуск — это, оказывается, не в руках живёт. Это глубже.

Третьей пулей я снял черепок с тына на тридцати шагах. Пятой — расколол стоялую жердину.

— Ты гляди, — сказал Кузьма с удовольствием. — А говорил — учиться... Э, нет, барин, так не пойдёт! Ну-ка с упору, на семьдесят!

С упору на семьдесят я влепил в сажень от вешки, и мастеровые заржали — беззлобно, по-цеховому: промах здесь был не позор, позор был не стрелять. Чекан не выдержал первым: «А ну, дай-ка». Конвой превратился в участника, снял перчатки, продышался — и положил три пули так кучно, что Кузьма крякнул и зауважал майора отдельно от чина. Потом стреляли все: мастеровые — по очереди, из моего же пистоля, «для испытания изделия»; испытание изделию шло пятнадцатое подряд, и изделие держало. Синица выклянчил выстрел, зажмурился, попал в чужую вешку и объявил, что так и было задумано.

Ставки росли от выстрела к выстрелу: сперва калач, потом пяток калачей, потом Кузьма поставил на своего замочника против меня связку баранок и воскресный заход в баню, и вокруг спорили уже человек тридцать — на вал подтягивался народ со всего посада, стрельба в сумерках собирает зевак лучше ярмарки.

К концу у нас шло форменное состязание: мастеровые

против «пожарной команды» в моём лице, с Чеканом в судьях, со ставками в калачах, с Синицей в роли глашатая, орущего результаты на весь вал. Мастеровые победили — у них был свой первый стрелок, щуплый старичок-замочник, который клал пулю в пулю и после каждого выстрела скромно сморкался. Но и моя «команда» не осрамилась, и на прощание старичок-замочник сказал мне фразу, которую я потом вспоминал чаще иных приговоров:

— Рука у тебя, барин, учёная, а ствол — наш. Вот так бы и всё в государстве: наша работа да учёная рука. Глядишь, и не горело бы.

Между стрельбищем и сумерками в караулку успело войти ещё одно посольство — самое маленькое и самое трудное.

Пришла женщина в тёмном платке, а при ней — Прошка: обожжённая щека под чистой тряпицей, глаза в пол. Мать вытолкнула его вперёд, поклонилась мне в пояс и стала благодарить — долго, старинно, со слезой, и я это терпел, потому что перебивать материнскую благодарность нельзя, она ей самой нужнее, чем мне. А когда она выдохлась, Прошка поднял глаза и сказал своё:

— Барин... А возьми меня в пожарные. Я быстрый. Я, вот крест, самый быстрый в цеху — спроси кого хошь...

— Жалованье-то в ларе зачем прятал, быстрый? — спросил я. Прошка вспыхнул ушами. — Ладно. Слушай условие. В пожарные мне малолетков не положено — и не проси, у

огня детям дела нет. А вот что есть... Грамоту знаешь? Нет? Вот тебе первое задание: к лету выучиться читать и писать — у Никодима при звоннице, он учит. Второе: цеха не бросать, мастеру не дерзить. А выучишься — приходи: мне при службе нужны будут люди, которые и железо знают, и грамоту, и в огне бывали да ума не потеряли. Таких, брат, мало. Уговор?

— Уговор! — выдохнул Прошка таким голосом, будто его зачислили в гвардию.

Мать на прощание сунула-таки мне узелок с пирогами — отбиться не было никакой возможности, — и пироги мы с часовым съели пополам: у него служба, у меня арест, а пироги были с ливером. Жизнь, как ни крути, налаживалась.

Следом — уже в сумерках, когда меня водворили обратно, — пришли купцы.

Трое, степенные, с поклонами: от оружейного ряда, от хлебного и от лесного. Эти пришли с деньгами — узелок был внушительный, рублей на полтораста, я такие узелки на вес определяю.

— Не приму, — сказал я, и купцы переглянулись с пониманием: торг начался. — Не приму деньгами, господа ряды. А приму — услугой, коли не поскупитесь.

— Какой услугой? — осторожно спросил лесной.

— С тебя и начнём. На Крапивенской дороге погорел постоялый двор Макара Силыча — слыхали? Ему сруб нужен, шестистенный, на восемь денников, и тёсу на кровлю. По

зимней цене, без обдираловки, а лучше — с поклоном: двор его — первый от заставы, всякий обоз его видит, и каждый проезжий будет слышать от Силыча, кто ему помог встать... Теперь хлебный ряд. У меня на подворье — команда, восемь ртов, да дозорные мальчишки, десятка полтора. Мальчишки те для вас же по городу глядят — чтоб не горело. Корми их, хлебный ряд, по калачу в день на нос — дешевле страховки не бывает... А с оружейного ряда — особое. Мне нужен лучший замочник на мелкую точную работу. Жестянки одни разбирать надо, с хитрым ходом. Казённое дело, тайное, платить буду.

Купцы ушли довольные — все трое. Услуга, в отличие от денег, ложится в их счётные книги статьёй «приход»: они теперь были не данниками, а партнёрами пожарного дела. Этой науке меня тоже не Тула учила.

А узелок я всё-таки взял — но при Чекане пересчитал и велел записать: «в пожарную казну тульского дома, на рукава и ремонт труб». Чекан записал, крякнул и посмотрел на меня поверх бумаги:

— Слышь, унтер. А ты всегда так? Чтоб ни копейки мимо книги?

— Всегда, Пётр Саввич. Деньги мимо книги — это как огонь мимо печи. Греет быстро, горит — всё.

Чекан подумал и записал, по-моему, и это.

А под самый вечер оружейный ряд прислал обещанного замочника — того самого щуплого старичка-стрелка, что

клал пулю в пулю и скромно сморкался. Звали его Лукич, и пришёл он «поглядеть на казённое тайное дело» со своим узелком инструмента, важный, как лекарь.

Я выложил ему жестянку — ту, крапивенскую, с часовым ходом, которую возил с собой зашитой в седельную подушку. Лукич надел на глаз медное кольцо с линзой, покрутил жестянку, понюхал, тронул пружину шильцем — и занимался ею с полчаса, забыв про меня совершенно. Потом снял кольцо и сказал:

— Ну, что скажу, барин. Ход часовой, да не часовой: от часов тут колесо да пружина, остальное — своё, нарочное. Работа чистая, не кустарь вязал... И работа — не наша. Не тульская.

— А чья?

— А вот гляди. — Он повернул жестянку к свече. — Винт видишь? Резьба под левую руку идёт. У нас так не режут — у нас вся снасть под правую. Под левую режут немцы, да и то не всякие... А теперь сюда гляди: клеймо спилено, а под спилом — краешек остался, вот, с ноготок. Литера не наша, барин. Я такие литеры видал на питерских замках, на адмиралтейских: мне их чинить привозили... Так что снасть твоя — питерская, мастерской работы, деланная не на продажу: на продажном клеймо не пилят, продажным хвастают. Пилят — на казённом. Или на тайном.

Питерская. Мастерской работы. Не на продажу. Я завернул жестянку обратно в холстину с таким чувством, с каким

заворачивают вещественное доказательство по делу, которое наконец-то перестало быть уездным.

— Лукич. Возьмёшься такие разбирать и описывать? По полтине за штуку, под присягой о молчании.

— Под присягой — по рублю, — сказал старичок скромно. — Молчание, барин, нынче дорого. Сам видишь, какие дела у вас в городе творятся.

А последней — уже в темноте, со свечой, когда сутки мои истекали, — снова пришла Аглая.

Без корзины на этот раз. С бумагой.

— Сиди, арестант, не вставай. — Она села напротив, положила на стол лист, исписанный её рукой — острой, быстрой, с нажимом. — Я тут потрудилась, пока ты по стрельбищам гулял под конвоем... Это — всё, что я вытрясла из папенькиных писарей, из городской управы и из двух кумушек, у которых мужья в губернской канцелярии. Список.

— Чего список?

— Стен, которые тёрли. — Она подвинула лист ко мне. — С осени. Я же сказала: я слушаю, что говорит город... Одиннадцать мест, Горев. При каждом — когда стёрто и кто велел. Распоряжение одно и то же, губернское, «о недопущении суеверных художеств». А теперь гляди сюда. — Её палец, с въевшейся у ногтя копотью — огневики, они все с копотью, — ткнул в три нижние строки. — Эти три — не стёртые. Свежие. Красильный двор за Упой. Хлебные магазины

у Киевской. Лесной склад при заводе. Мои кумушки божатся: появились на этой неделе.

Я смотрел на список — он сходился с Синицыным, строка в строку, только у Аглаи были ещё числа и имена, — и понимал, что эта девица за три дня сделала работу хорошего дознавателя.

— Зачем тебе это, Аглая Аникеевна?

— Затем, что мне скучно, — сказала она ровно. — Двадцать два года, Горев, род, где меня готовят в жёны кому-нибудь полезному, город, который горит, и отец, который делает вид, что так и надо... И тут приезжаешь ты — и выясняется, что можно иначе: считать, искать, понимать. — Она посмотрела мне в глаза, и в её зрачках дрожали свечные огоньки — или не свечные, у неё не разберёшь. — Я не дура и вижу: ты знаешь про эти метки больше, чем говоришь. Сильно больше. Не хочешь говорить — не надо. Пока не надо. Но в долю — возьми. Я умею то, чего не умеет вся твоя команда: я своя — там, наверху, в гостиных и канцеляриях. А ты свой — внизу. Вместе мы этот город прочтём насквозь.

Я молчал, наверное, с минуту. Взвешивал — как тогда, в первый её приход. Только теперь на весах лежал ещё и список, сделанный чисто, без единой лишней буквы.

— Беру в долю, — сказал я наконец. — Условия такие: список твой я сверю со своим и дочту по-своему — у меток есть счёт, какой знаю пока я один. Когда дойдёт до дела — а дойдёт скоро, — ты в деле. А после дела — расскажу осталь-

ное. Что смогу.

— Что сможешь. — Аглая поднялась, забрала свечу и у двери обернулась, сощурясь: — А знаешь, что мне больше всего нравится в тебе, крапивенский? Ты торгуешься, как купец, дерёшься, как мужик, а молчишь... — она поискала слово, — молчишь, как старик. Сколько ж тебе лет на самом деле, Горев?

И вышла, не дожидаясь ответа. К счастью.

Я остался в караулке один — с именным стволом на столе, со списком меток на столешнице и с полутора сотнями рублей в пожарной казне.

Для человека под арестом — неплохой день. Пожалуй, самый прибыльный арест в моей жизни, считая обе.

Глава 4

Жаров вызвал меня наутро после ареста — и четверть часа орал.

Орал он про самовольство, про устав, про «распустились», про то, что Опару он восстановил «не для того, чтоб всякий унтер тут командовал», — а закончил, по своему обыкновению, поперёк собственного ора:

— ...и чтоб к Пасхе мне эдакого больше не было! А чтоб не было — на́ тебе, умник, дежурную смену. Одну! Третью, самую дрянную! Делай с ней что хошь по своей крапивенской науке. Поглядим, чего твои две минуты стоят супротив моего устава. Осрамишься — вернёшься в строй и замолчишь навек. Всё, вон!

Вот так в тульском пожарном доме началась реформа — с одной смены, выданной мне «на осрамление».

Третья смена была дрянной по-настоящему. Её и держали-то как штрафную: пьяницы, старики, двое наказанных за драку и унтер Рябой — здоровенный, рябой, само собой, мужик с вечной ухмылкой, которого из первой смены сослали «за язык». Язык у Рябого был — бритва.

— Гляди, братцы, — объявил он при моём первом появлении, — крапивенский чудотворец к нам! Счас воду в вино оборотит. Или нас — в голландцев.

Смена заржала. Я ржал вместе со всеми — это их озада-

чило.

— В голландцев не обещаю, — сказал я. — Обещаю другое: через две недели первая смена будет у вас калачи клянчить. А Рябой — спорим на полтину? — сам попросит второй заход учений.

— Я?! — Рябой задохнулся от восторга. — Да я!.. Полтина! При всех — полтина!

Ударили по рукам. Психология штрафной смены проста, как багор: им всем давно объяснили, что они худшие. На этом фундаменте строить легко — надо только перевернуть его вверх ногами.

Первое учение мы провалили с таким треском, что сбежался весь двор.

Я скомандовал условный выезд — «горит весовая на торгу», по моей крапивенской схеме: расчёт по номерам, каждый знает своё, упряжка — бегом. На бумаге было красиво.

В жизни Третья смена столкнулась лбами в воротах конюшни, уронила хомут в навоз, запутала рукав в колесе, а коренник, почуяв общий дух, укусил запрягавшего. Дед Авдей и дед Назар, двигаясь встречными курсами с одним и тем же ведром, исполнили посреди двора фигуру, которой позавидовал бы придворный балет. Рябой орал «куды!» четырём людям разом, и все четверо послушно поворачивали — каждый в свою сторону. Наказанный за драку Фомка, человек действия, попытался выдернуть застрявший рукав рыв-

ком — и сел в снег с куском рукава в руках, с таким изумлением глядя на обрывок, будто это рукав был виноват. Через одиннадцать — одиннадцать! — минут ход выехал за ворота, потеряв по дороге багор и одного деда, который сел мимо телеги.

Первая смена, высыпавшая смотреть, легла вся. Рябой не смеялся — Рябому было хуже всех: он уже видел свою полтину уплывающей, но позориться смене при чужих не позволяла какая-то его личная рябая гордость.

— Ну что, чудотворец? — только и сказал он сквозь зубы. — В голландцы, стало быть?

— Нет, — сказал я. — В разбор.

И мы сели разбирать. Прямо во дворе, на брёвнах, всей сменой — как я привык за двадцать семь лет: без крика, по шагам. Где столкнулись? Почему? Кто за хомут отвечает? Никто — вот и ответ, вот и навоз. Расчёт по номерам — заново, под людей, а не под бумагу: деду — не на телегу прыгать, а ворота отворять, он ближе всех живёт... Рябому — правый борт, у него плечо и голос... Запрягать — только Фомке с Егоркой, у них руки, остальным к коням не лезть...

— А коренника вашего кусачего, — закончил я, — я завтра приведу знакомиться со своим. Мой вашего воспитает. Мой, братцы, людей ест, а коней только строит.

Смена хмыкнула. Смена, сама того не заметив, уже час работала головой — занятие, которого ей не предлагали годами.

Коренника, кстати, я назавтра привёл знакомиться, как обещал, — и это зрелище собрало народу больше, чем учение. Кусачего звали Разбой, и он честно попытался взять Уголька за холку с порога, по-хозяйски. Что было дальше, очевидцы рассказывают по-разному; сходятся на том, что Уголёк не ударил и не укусил — он сделал страшнее: развернулся, прижал Разбоя грудью к стене конюшни и держал так, глядя на него одним глазом, покуда тот не обмяк и не заржал тоненько, по-жеребячьи. После чего Уголёк отпустил его, отошёл к своей кормушке и больше внимания не обращал. Разбой с того дня ходил за ним по двору, как адъютант, в упряжке стоял смирно и кусал только сено. «Воспитал, — уважительно сказал дед Авдей. — По-унтерски: без мордобою, одною строгостью». Я на всякий случай не стал уточнять, на кого из нас двоих намекает дед.

Второе учение — семь минут. Третье — пять с половиной.

Минуты эти вынимались не криком — хитростями, и лучшие хитрости придумывала сама смена, стоило ей позволить думать. Дед Авдей, получив в заведование ворота, в первый же день изобрёл то, до чего я в Крапивне доходил полгода: подпёр створки так, чтобы падали наружу от одного пинка, а на ночь стал смазывать петли салом — «штоб не пели, а летели». Фомка с Егоркой развесили хомуты не на стене, а на журавце над денниками: дёрнул — хомут сам упал коню на шею, пол-минуты долой. Рябой выдумал «вечернюю закладку»: с вечера проверять и укладывать весь снаряд на телеги

в одном, навеки заведённом порядке — «как бабка пироги к печи готовит, штоб утром только сажать». Я ходил, смотрел и мотал на ус: половину этих придумок я потом вписал в устав, честно, с именами. Люди, увидевшие своё имя в уставе, служат после этого так, что хоть отливай из них памятник.

На пятый день Третья смена выезжала за четыре, и у ворот конюшни я повесил доску с мелом: смена — время — число. Первой на доску легла, понятно, Третья: больше было некому.

И тут сработало то, на что я, честно говоря, и ставил.

Первая смена, элита, белая кость, ходила мимо доски три дня, плевалась — а на четвёртый её унтер, не выдержав, спросил, как бы между прочим: а им, первой, когда такое учение? Я развёл руками: Жаров выдал мне одну смену, не обессудьте. К вечеру первая смена отправила ходоков к Чекану. Чекан — к Жарову. Жаров орал («бунт! устав!»), но доску не снял, а это было главное.

Через неделю на доске стояли все четыре смены, и двор пожарного дома в свободный час напоминал ипподром: учебные выезды гоняли на время, при зрителях, со ставками в калачи и квас, и писарь — сам, добровольно! — вёл на доске строку рекорда.

Про один такой заезд стоит рассказать, потому что он решил больше, чем десять моих речей. Первая смена, собравшись с духом, вызвала Третью на спор — гласно, через дос-

ку: суббота, два выезда, судит Чекан, проигравший чистит победителю упряжь месяц. К субботе о споре знал весь дом, половина Оружейной слободы и, по-моему, кони. Народу набилось — как на кулачки: на заборе сидели слободские мальчишки, у ворот стояли степенные бородачи и спорили о наших людях, как о рысаках, — «у Рябого правый борт сильней», «зато у первых запряжка глаже».

Первая смена шла красиво — глаже, ровнее, ни одного лишнего движения: старая выучка, белая кость. Три минуты двадцать. Двор ахнул. А Третья... Третья вылетела, как вылетает пробка: с рыком, с рванью, дед Авдей распахнул ворота за полторы сажени до упряжки — и три минуты ровно. Двор ревел так, что на каланче проснулся дозорный.

Рябой, получая от первой смены скребницу — символ месячной чистки, — держал речь: «Учитесь, бары. Мы — смена штрафная: нам терять нечего, окромя навоза». А вечером, я знал, он украдкой послал первым ведро мёду: спор спором, а люди — людьми. Это уже была не штрафная смена. Это была лучшая смена губернии, и она об этом знала.

Рекорд держала Третья. Три минуты десять — а с той субботы три ровно.

Жаров смотрел субботний спор инкогнито — то есть он так полагал, что инкогнито: стоял за воротами, в партикулярном, в воротнике по уши, и весь двор, разумеется, знал, что это их высокоблагородие, и делал вид, что не знает, — в пожарном доме быстро выучиваются двойному зрению. По-

сле второго выезда «неизвестный в воротнике» крякнул на весь переулок. После рябовской речи про навоз — закашлялся подозрительно. А в понедельник Чекан показал мне новое распоряжение: «Доску с мелом — считать заведением постоянным. Сломает кто — взыщу. Жаров». И ниже, другим нажимом, видно было — боролся с собой и не сдержался: «Первой смене — подтянуться. Срам».

— Это он тебе знаешь что сейчас подписал? — сказал Чекан, пряча распоряжение. — Это он тебе капитуляцию подписал, унтер. На моей памяти старик сам в устав дописал полторы строки за двадцать лет. Твоя — вторая.

— Не две с половиной, как у нас в Крапивне, — заметил я Рябому.

— Дак телега ж тяжельше вашей крапивенской! — взревел Рябой, у которого от прежней ухмылки остался только азарт. — Колёса грязь жрут! Вот подсохнет — я те покажу две с половиной! Я те две ровно покажу!.. Слышь, чудотворец, а давай ишшо заход? Покуда светло?

Сказал — и осёкся. И полез в кошель за полтиной, под грохот всей смены.

Полтину я взял — уговор есть уговор — и тут же, при всех, положил её «в смены на мёд к Пасхе». Так она стала переходящей: её разыгрывали потом каждую неделю, лучшему выезду, и называлась она в доме «рябая полтина». Традиции рождаются из чего попало — надо только не мешать им рождаться.

С Опарой вышло не смешно.

Я застал его в обозном сарае на третий вечер реформы — он сидел меж колёс, при фонаре, с штофом, и был уже тяжёл. Увидев меня, не смутился — отсалютовал штофом:

— Унтеру-чудотворцу... Садись, крапивенский. Выпьешь? Не пьёшь ты, я забыл. Все вы, которые с огнём всерьёз, — не пьёте... Я тоже не пил. Двадцать лет назад.

Я сел на колесо. Опара смотрел в фонарь.

— Слыхал, поди, за что меня? — спросил он. — Ну, слыхал, по глазам вижу: «выехал без записки»... А как оно было — не слыхал. А было оно так, унтер. Чулкова слобода, ночь, ветер. Я — брандмейстер, молодой, злой, вроде тебя. Вижу с каланчи: занимается, и занимается худо. Побежал к майору тогдашнему за запиской — а майор в гостях, ужинает у его высокоблагородия. Мне говорят: жди. Я ждал... — Опара качнул штоф, посмотрел сквозь него на фонарь. — Четверть часа ждал, унтер. По уставу. А потом плюнул и выехал сам. И мы ту слободу — взяли, вытащили, восемь дворов всего и сгорело... Восемь дворов — а в одном из восьми, крайнем, кузнецова семья жила. Кузнец на ночной был, а баба его с детьми... Понимаешь, какая штука: тот двор занялся первым, ещё покуда я у майорова крыльца записку ждал. Четверть часа, унтер. Я их потом сам выносил — всех четверых... И вот что я тебе скажу, и ты это запомни крепче устава: мне разжалование — тьфу. Мне лук этот — тьфу. А вот

этих четверть часа у крыльца я себе двадцать лет простить не могу. Не того, что выехал без записки. Того, что сперва — ждал. — Он помолчал. — А наутро мне — разжалование. Не за то, что выехал, нет. Формально — за то. А по правде — за то, что вышло: выходит, без записки — можно? Выходит, устав — не свят? Этого, унтер, простить нельзя. Можно простить сгоревшую слободу. Нельзя — спасённую не по уставу.

Он аккуратно, очень ровно поставил штоф на землю.

— Двадцать лет я пил и ждал, кто ж это поломает. Думал — не доживу... А тут ты. С ума сойти: дожил. — Он поднял на меня глаза, мутные и совершенно трезвые одновременно. — Ты вот что, Горев. Ты это... не осрамись. Теперь уж — не осрамись, Христом прошу. Потому как ежели и ты сломаешься — я ж тогда окончательно пойму, что те двадцать лет были правильные. А я с этим знанием жить не хочу.

— Не осрамлюсь, Опара, — сказал я. — А штоф отдай.

— Чего это?

— Того. Брандмейстеру на разводе положено быть трезвым. Бумага твоя подписана, ты с третьего дня опять брандмейстер — а в завтрашнее расписание, в шесть, тебя поставил я. У Чекана выбил, с ором: тот всё жалел тебя, «пусть обвыкнется». Хватит обвыкаться.

Опара долго смотрел на меня. Потом на штоф. Потом протянул его мне — не глядя, отвернувшись, — и сказал сиплым не своим голосом:

— В шесть, стало быть... Ты иди, унтер. Иди. Мне тут...

побыть надо.

Я шёл через тёмный двор с чужим штофом в руке и думал, что реформа — это вообще не про нормативы. Нормативы — следствие. Реформа — это когда человеку возвращают сломанное двадцать лет назад и смотрят, встанет ли.

Назавтра в шесть Опара стоял на разводе — серый, трясущийся, в вычищенном мундире. Третья смена сделала при нём выезд за четыре минуты с четвертью — лучший свой на ту пору.

И я видел, как он это смотрел.

А после развода случилось то, чего весь двор ждал со сладким ужасом: к строю вышел Жаров. Его высокоблагородие изволили прибыть на первый развод восстановленного брандмейстера лично — и теперь стояли против Опары, и два старика смотрели друг на друга через двадцать лет.

— Брандмейстер Опара, — сказал Жаров казённо. — Смену принял?

— Принял, ваше высокоблагородие.

— Замечания?

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

Жаров помолчал. Пожевал губами. И сказал — уже не казённо, тяжело, при всём строе, потому что иначе старик не умел, а наедине такого не говорят:

— Ты это... Чулкову слободу помнишь, стало быть... Так вот: прав ты был тогда, Опара. А я — нет. Я тебя не ломал, ломали повыше, да я и не заступился, вот что моё... Двадцать

лет должок висел. Считай — расписку выдал. При свидетелях. — Он обвёл строй глазами и рявкнул по-всегдашнему: — Чего рты раскрыли?! Служи-и!

И ушёл, не дожидаясь ответа, — по своему обыкновению орать, когда делает правильное. А Опара стоял, вытянувшись, и по серому его лицу, мимо всех уставов, текло. Строй смотрел в землю — из уважения. Двадцать лет человеку возвращали одной минутой, и присутствовать при таком — честь, а глазеть — свинство. Моя Третья понимала разницу. Уже понимала.

А поздно вечером на подворье меня ждал Синица со своей дранью, исписанной углём, — и по его торжественной морде я понял: созрело.

— Всё, барин. Сеть доносит. — Он развернул драть. — Стёртых петухов за зиму — одиннадцать, вот списочком, у меня с Аглаиным листом сошлось тютелька в тютельку, мы сверяли... А свежих — три. И слушай сюда: красильня за Упой — ей по зубцам выходит срок... — он посчитал, шевеля губами, — послезавтра в ночь, барин. Послезавтра.

Послезавтра. Красильный двор, девятый зубец.

— Собирай совет, — сказал я. — Засада.

Красильный двор за Упой мы обложили с вечера — по всей науке, которой я учился не в этом веке.

Наука началась накануне, засветло: я прошёл двор два-

жды, под видом заказчика — приценивался к крашенине, — и снял его в голову, как снимают план: входы, лазы, высота заборов, где собака, где сторожка, откуда ветер и куда, случись что, побежит огонь. Вечером, на подворье, начертил углём на столешнице и распределил всех по чертежу — с запасными местами, с условными знаками: соловьиный свист Синицы — «идут», дрозд — «уходят», три удара сердца тишины после свиста — работаем. Бубен, глядя на столешницу, крякнул: «Чисто диспозиция под Хотином». Так и есть, Кузьмич. Засада — та же оборона, только наоборот.

Сам двор — три длинных сарая, чаны, сушила, запах такой, что глаза слезятся. Хозяин, купец Красильников (бывают же такие совпадения фамилии с ремеслом), был предупреждён накануне — и разговор с ним стоит двух слов, потому что это был разговор со всем тульским купечеством разом.

Сперва он не верил: «Кому я сдался, у меня и врагов-то — один сосед, и тот из-за забора». Потом, когда я показал ему, где стояла стёртая метка, и назвал ночь, — верить начал, но решил дело по-своему: «Найму сторожей, четверых, с дубьём!» Пришлось объяснять, на пальцах, что четверо с дубьём — это четверо покойников или четверо подкупленных, а поджигателя берут не дубьём, а тишиной: двор должен спать. Красильников слушал, потел и наконец задал единственный вопрос, который купца интересует по-настоящему: «А тебе-то, унтер, что с того? Какой твой профит?» —

«Мой профит, — сказал я, — твой двор, который не сгорит, и твой язык, который послезавтра расскажет всему ряду, кто его спас и почему страховая складчина должна платить мне на дозоры». На этом месте он успокоился совершенно: человек, у которого есть понятный профит, для купца свой, ему можно доверять. Хуже нет, чем иметь дело с бессребрениками — жди подвоха.

В ночь засады он сидел дома, крестясь на все окна разом. Вокруг двора, в ночи, лежали мы: я с Бубном — в сушилах, Никодим — за поленницей у ворот, Аглая — Аглая, как обещала, явилась, переодетая в мужицкое, и спорить с ней было всё равно что спорить с печной тягой, — Аглая засела на чердаке красильни. Лушка с Ерофеем и Голландкой стояли в проулке, наготове: если прозеваем — тушить.

Метку на воротах красильни серые стёрли ещё на той неделе. Но я-то её прочёл раньше: девять зубцов, ставлено восемь дней назад. Сегодня — девятый.

— А ну как не придёт? — шёпотом спросил Бубен. Ему было холодно, скучно и хотелось курить — запрещено было всё разом.

— Придёт. Роспись есть роспись.

— А ну как придёт... энтот? Который твой... — Бубен замялся. Я ему не говорил всего — но Бубен был старик, а старики догадливы. — Который колпак?

— Тогда, Кузьмич, сидеть тихо, как мыши. Это мой разговор.

Пришли — в третьем часу, самом воровском.

Но пришёл не он.

Их было двое, и шли они не как кот — как ходят подмастерья: вперевалку, с оглядкой, с мешком. У забора завозились, подсадили друг друга. В мешке звякнуло — я узнал звук жестянки о жестянку, и меня обдало холодом: знакомая снасть. Бочонка при них не было, зато был горшок — я потом разглядел: горшок с углями, нитки, пакля, смола в туеске. Снасть попроще, работа погрубее — но для сухих красильных сараев хватило бы за глаза.

Они деловито, по-хозяйски, полезли закладывать паклю под дальний сарай. Один держал, другой тянул нитку.

— Ну, — выдохнул я, — пора.

Взяли мы их чисто. Никодим упал на одного сверху, как сходит лавина, — тот только пискнул. Второй рванул к забору, перемахнул — и по ту сторону забора его встретила Аглая, спрыгнувшая с чердака. Я не видел, что там было, — видел только, как через забор обратно перелетела шапка, а потом нам открыли ворота, и Аглая вошла, ведя беглеца за ухо, как нашкодившего кота. Ухо дымилось. Слегка.

— Он меня девкой обозвал, — объяснила она. — В процессе.

При фонаре добыча оказалась знакомой масти: серые кафтаны, медные пуговицы. Сквозняковские. Та самая порода, что била окна Матрёне и жгла мою сторожку, — только тульского разлива.

Говорить они начали наперебой, едва Никодим засучил рукава, — даже жалко стало, до чего измельчал враг.

Картина из их блеяния сложилась такая. Служат они «при Ефиме Ильиче», на жалованье, уже третий месяц. Работа была — стирать со стен «художества» да приглядывать. А с месяц назад работа переменилась: велено стало жечь самим. По списку. Список у старшого, им называют двор и ночь — они кладут нитку.

— А энтот... который раньше жёг? — спросил я ровно. — Который художества малевал?

Серые переглянулись — тем самым переглядом, который я уже видел в церковном подклете Крапивны: не сообщническим. Боязливым.

— Кочет-то?.. Дак он, барин, того... испортился, — выдавил тот, что с дымящимся ухом. — Старшой сказывал: Кочет мышей не ловит. Тянет, метит, народ полошит. Ему, старшой говорит, уже и не поручают ничего — так, ходит следом, вынюхивает... А намедни старшой при нас говорил приезжему: мол, потерпите, недолго ему осталось вынюхивать. У них, говорит, на самого Кочета свой огонь припасён.

— Какой огонь?

— А пёс его знает, барин. Только старшой смеялся. Нехорошо так смеялся. Говорит: кто из огня сделан, тому в огонь и дорога, — на Страстной, говорит, поглядите, какой из Кочета выйдет петух жареный...

Бубен рядом со мной медленно, страшно выпрямился. Аг-

лая переводила взгляд с серых на меня, и было видно, как у неё в голове стремительно сходится то, чего я ей не договаривал.

На Страстной. У них на него припасён свой огонь — на Страстной.

До Страстной недели оставалось двадцать шесть дней.

— В мешки их, — сказал я. — То есть, тьфу, — вяжите и в сани. Сдадим... — Я осёкся. Кому сдадим? Губернской канцелярии, откуда вышло распоряжение про метки? Жарову, у которого Сквозняков днюет и ночует?

— Ко мне, — неожиданно сказала Аглая. — В подвал нашего дома. У папеньки в подвале испокон буянов держат до разбора — право пожарного дома. А разбирать их будет папенька. Лично. Я позабочусь, чтобы лично и чтобы при Чекане, — без серенького.

Я посмотрел на неё. Она пожала плечами:

— Ты не один тут считаешь, крапивенский. Мой город жгут по списку, а моего отца держат за болвана в чужой игре. Я, Горев, злая. Я очень удобно злая — пользуйся, пока дают.

Серых мы сдали в жаровский подвал под утро, с рук на руки Чекану — тот выслушал, посмотрел на снасть в мешке, на нитки, на туесок со смолой, и желваки у него встали, как у Аглаи.

— Ночью, стало быть, — сказал он. — По списку, стало быть... У меня в прошлом месяце на Ремесленной тёща сго-

рела у унтера Савельева. Тоже, выходит, по списку?

— Проверим, господин майор. Теперь — проверим всё.

А я шёл с Упы на подворье, по светающей Туле, и во мне холодным ключом колотилась одна мысль, вымывая все остальные.

Его списали. Семь лет он был им нужен — а теперь испортился: метит, тянет, полошит. Теперь жгут серые, попроще, побыстрее, без календарей. А ему — «недолго осталось», и на Страстной из него сделают «жареного петуха», и старшой при этом нехорошо смеётся.

Они собираются казнить отца. Прилюдно. Огнём.

Я ещё не знал — как, не знал — где, не понимал — зачем прилюдно. Но я уже твёрдо знал три вещи.

Первое: у меня двадцать шесть дней, чтобы его найти. Раньше них.

Второе: искать надо не по меткам — метки кончились, его от дела отставили. Искать надо по-другому, и у Синицы уже третий день лежала наводка: балка за Упой, кирпичные сараи.

И третье, самое простое: сегодня ночью я больше не усну. Так чего тянуть.

Я свернул с дороги на подворье — и пошёл к Упе. Один, пешком, в мартовских сумерках, навстречу самому страшному разговору обеих моих жизней.

Глава 5

Кирпичные сараи стояли над балкой в полуверсте от города — брошенные с осени, когда глину выбрали. Синицына мелюзга доносила: в крайнем сарае по ночам живёт тепло. Не дым, не огонь — именно тепло: снег на кровле крайнего сарая не держался.

Я спустился в балку, когда небо на востоке только-только отделилось от земли.

Снег здесь лежал чистый, мартовский, с жёсткой коркой. И по этой корке, от речной тропы к сараю, шла цепочка следов. Длинный ровный шаг. Тихий — даже по насту тихий: след был, а хруста, когда я шёл по его следу, не получалось у меня, как я ни ставил ногу.

Всю дорогу от города я составлял разговор. Привычка следователя, смешная и спасительная: когда внутри воет, раскладывай вопросы. Я и раскладывал. Первое: омшаник — что там было на самом деле. Второе: чей он теперь, кто держит. Третье: метки — почему девять зубцов, почему мел... Список выходил стройный, допросный, и я цеплялся за его стройность, как за перила, потому что под списком, этажом ниже, сидел один-единственный настоящий вопрос, не допросный, а сыновний, и его я задавать боялся: «Батя. Как же ты жил».

Полтора года я шёл к этой двери. Сначала — не веря. По-

том — не смея верить. Потом — боясь, что опоздаю. У самой балки я поймал себя на том, что замедляю шаг, — я, который в горящие дома входил не замедляясь. Огонь — что. Огонь — работа. А вот сейчас, за дощатой дверью с теплом под кровлей, меня ждало такое, против чего не было ни устава, ни норматива.

У крайнего сарая я остановился.

И голос из-за двери — хриплый, глухой, тот самый, что над пожарищем богадельни сказал мне «ты успел», — голос произнёс изнутри, спокойно, как будто мы уговаривались с вечера:

— Заходи, Стёпка. Чего на холоде стоять.

Внутри было тепло и темно. В дальнем углу, в яме от кирпичной печи, лежали угли — ровные, рыжие, ухоженные, как грядка. Он сидел возле них на чурбаке — без армяка, в одной рубахе, и колпак его валялся рядом, и я впервые увидел его простоволосым: седой весь, коротко, по-острожному стриженный, с тёмным сожжённым лицом.

На меня он не смотрел. Смотрел на угли.

— Садись, — он кивнул на второй чурбак. Второй чурбак стоял наготове, у огня, с подветренной стороны — гостевой. — Я тебя с осени жду — с того дня, как прознал, что закладную твою тульскому дому перепродали. Куда долг — туда и должник: арифметика нехитрая. Думал, к Рождеству доберёшься и догонишь. Подзадержался ты.

— Дороги, — сказал я. Горло у меня было как после дыма.

— Дороги, — согласился он. — Дороги у нас длинные.

Я сел. Мы помолчали. Угли дышали. Где-то наверху, над балкой, начинала скрипеть просыпающаяся ворона.

Я смотрел на его руки. Он их не прятал — держал над углями, грел: сплошной стянутый глянцевый ожог вместо ладоней, пальцы в трещинах. На левой руке, на безымянном, светлел след — полоска кожи, где двадцать лет сидел перстень и семь лет не сидел.

Перстень был у меня. На моей руке. На том же пальце.

— Ну, — сказал он, не отрывая глаз от углей. — Спрашивай. Ты ж за этим шёл — спрашивать. Ты ж у нас дознаватель: золу читаешь, людей читаешь... Спрашивай, Стёпка. Только я вперёд одно скажу, чтоб промеж нас сразу легло. — Он повернулся наконец, и глаза его — больные, глубокие, мои глаза, я их в медном подносе вижу каждое утро, — упёрлись в меня. — Настасью, солдатку, — я жёг. Богадельню — я. Лукьянов дом, где дитё, — я. И ещё сорок дворов за семь лет, и в одиннадцати из них были люди, я их считал, я всех считаю. Вот это всё — я. А теперь спрашивай.

Я молчал, наверное, долго. Угли успели подёрнуться и снова разгореться — он повёл над ними ладонью, машинально, как поправляют одеяло.

— Омшаник, — сказал я наконец. — Семь лет назад. Что было в омшанике?

— В омшанике была глупость. — Он сказал это ровно, как

давно отболевшее. — Я к тому времени год за ними ходил. За росписью ихней. Думал — выслежу возчика, возьму бумаги, повезу в губернию, в Сенат, государыне в ноги... Дурак был. Это они за мной год ходили. В омшанике меня взяли сонного — трое одарённых и зябкий ихний. Связали огнём — есть такое умение, ты не знаешь ещё... А в гроб, чтоб уезд не искал, положили бортника Савелия, царствие ему, — он в ту ночь со мной ночевал. Его — в гроб, меня — в подвал.

— Какой подвал?

— А вот этого тебе знать не надо. — Он сказал это быстро и глухо, и руки его над углями на миг сжались. — Подвал как подвал. Трое суток. Они это называют — выворотка. Жилу, которой мы пьём, они... — он поискал слово, — перешивают. Наизнанку. Я теперь, Стёпка, не беру жар. Я его рожу. Сам, изнутри, всё время — как ключ из-под земли. И ежели его не выпускать... — Он усмехнулся чёрной своей усмешкой. — Ну, ты видал, что бывает с печкой, когда вьюшку закрыть, а топить не бросить.

— Сгоришь.

— Сгорю. Изнутри, часов за десять. Пробовал — не понравилось. — Он опять усмехнулся, и от этой усмешки мне захотелось выть. — Вот и весь мой секрет, сынок. Семь лет я хожу и выпускаю. По ихней росписи — потому что ежели не по росписи, то где придётся, а где придётся — это ещё хуже, это я тоже пробовал... Они умные, Стёпка. Они не кнутом гонят. Они печку во мне топят, а вьюшку держат у себя.

— Таких, как ты, — много? — спросил я. Голос у меня сел на этом вопросе, и отец это услышал.

— Вывороченных-то?.. Не знаю, Стёпка. Врать не стану. Я одного встречал — в Калуге, года четыре тому: прошёл мимо меня человек на торгу, и я его почуял, как печь печь чует. Глянули друг на друга — и разошлись. У него глаза были... — отец пошевелил над углями пальцами, подбирая, — досиделые. Как у меня. Может, и ещё где ходят. Нас ведь не напоказ держат.

— А роспись? Как она к тебе приходит?

— А вот это по-умному у них, слушай. — Он даже оживился — за семь лет человеку, видно, ни разу не давали рассказать его каторгу вслух. — Бумаги мне не дают никакой. Приходит человечек — всякий раз иной, из серых, — и говорит на словах: такой-то двор, такая-то ночь. Один двор — один раз. Я ни списка ихнего не видал, ни где он лежит, не знаю. Спалишь такого человечка допросом — возьмёшь один двор, а роспись целая... Я года три собирал, по крохе: с какой стороны приходят, в какие дни, после каких обозов. Одно вызнал твёрдо: ниточка — через зябкого. Все дороги через Ефима Ильича идут, он тут и почта, и казна, и пригляд. А вот куда ниточка с той стороны уходит — то мне было не по уму. Теперь знаю: в возок с гербом уходит. Сам увидишь, ежели доживём.

Я молча складывал это в голову — туда же, где лежали Синицыны драни, Аглаин список и кружки́ на жаровском пла-

не. Картина сходилась краями, как сходится обгоревшая бумага: середина выгорела, а края читаются.

Вот теперь всё сошлось — до конца, до донышка. И «Горевы своих не жгут», и метки с девятью зубцами, и кошель, который он не взял, и «прости, Степан», которое слышала, не понимая, половина уезда.

Семь лет. Две тысячи пятьсот ночей — с ключом огня под рёбрами, с чужим списком в кармане, с ладонями, сожжёнными о собственный Дар. И всё, что он смог выкроить у этого ада, — девять мелованных зубцов форы для тех, кто успеет прочитать.

— Почему ты не пришёл ко мне? — спросил я. — В Крапивне. Ты ж видел меня. Ты ко мне в дом приходил, к очагу. Ладони в золе — твои?

— Мои. — Он посмотрел на угли. — Грелся... Не пришёл — потому что нельзя мне к тебе, Стёпка. Я меченый. За мной ходят. Я к кому подошёл — тот у них записан... Я и нынче не должен был пускать тебя сюда. — Он помолчал. — А пустил. Старый стал. Слабый.

И тут я сделал то, зачем, наверное, и шёл через ночь на эту балку, — хотя понял это только там, у углей.

Я снял рукавицу, протянул руку над его ухоженной огненной грядкой и сказал:

— Жги в меня.

Он замер.

— Ты печка, у которой вьюшка в чужих руках, — сказал я.

— А я, батя, труба. Я всю жизнь — труба, в обеих жизнях... Не спрашивай, после объясню, долго. Жги в меня. Сколько набежало с прошлого раза — всё давай. Я приму.

— Сдурел. — Он отдёрнулся. — Ты знаешь, сколько во мне копится за ночь? Ты, Искра вчерашняя...

— Уголь, — сказал я. — С прошлой недели — Уголь. Проверено на ствольной фабрике, свидетелей — полторы сотни. Лествицу твою я нашёл, батя. И тетрадь твою я читал, и камень наш меня знает, и перстень — вот он. — Я поднял руку, и рыжая искра в чёрном камне поймала свет углей. — Я не Искра вчерашняя. Я Горев. Горевы своих не жгут — так? Так вот слушай вторую половину, которую ты не дописал: Горевы своих — вытаскивают. Жги. В. Меня.

Он смотрел на меня — долго, страшно, и в сожжённом лице его ходило что-то такое, на что смотреть было нельзя, и я смотрел.

А потом он протянул руку — медленно, как через силу, ладонью к моей ладони, не касаясь, — и выпустил.

Это было не как пить пожар. Пожар — чужой, дикий, его ломаешь и глотаешь. Это было... это было как взять на руки человека, который падает: тяжело, горячо, роднó. Жар пошёл в меня ровной полной рекой — чистый, без дыма, без злобы, страшной силы жар, — и я принимал, и укладывал в себя, и когда меня залило по самый звоночек, я свёл остаток в ладонь и слил в снег за спиной, и снег ахнул паром.

Тихо стало в сарае. Только ворона наверху скрипела.

Отец сидел, уронив руки, и смотрел на меня так, как не смотрел на меня никто и никогда — ни в этой жизни, ни в той.

— Не горит, — сказал он шёпотом. — Нигде не горит... Стёпка. Сынок. Я семь лет... каждую ночь... а сейчас — не горит...

И Никита Горев, Красный Кочет, гроза четырёх уездов, человек, о котором крестились шёпотом, уткнулся сожжёнными ладонями в лицо и заплакал — тихо, скрипуче, неумело, как плачут те, кто семь лет не смел.

Я сидел рядом и держал его за плечо. Плечо было худое и горячее, как печной бок.

Ворона наверху заткнулась. И правильно сделала.

Перед уходом я сделал ещё одно — то, что две жизни делаю на всяком объекте: осмотрел его жильё на предмет безопасности, теперь уже не дознавательским глазом, а охранным. Сарай был поставлен к обороне грамотно — семь лет лесной жизни чему хочешь выучат: вторая лазейка в задней стене, прикрытая кирпичной кладкой на сухую, — толкни и выйди; угли в яме, которой не видно от двери; у лаза — припасённый мешок с сухарями и кресало: вещи человека, готового сняться за полминуты. Но было и то, от чего у меня свело сердце: на стене, у лежанки, гвоздём по кирпичу, был выцарапан календарь. Не зубцы росписи — простые чёрточки, семёрками, недели. Я прикинул, сколько их. Он считал

не дни до поджогов. Он считал — сколько прожито. Две тысячи с лишним чёрточек: человек в аду вёл учёт аду, чтобы не потерять себя. У нас, выходит, и это семейное.

Уходил я, когда совсем рассвело. Уговор мы положили такой: он остаётся здесь — в балку никто не ходит, а переезд среди бела дня опаснее сидения; ночью Ерофей с Никодимом перевезут его на подворье, в дальний сарай, под видом хворого странника. Сбрасывать будет в меня — раз в сутки, на рассвете. Синицыной мелюзге — дозор вокруг балки, издали.

Я был уже у тропы, когда он окликнул:

— Стёпка.

Я обернулся. Он стоял в дверях сарая — высокий, седой, в наброшенном армяке, и утренний свет впервые показал мне его всего: какой он худой и какой, несмотря ни на что, прямой.

— Ты спросить забыл главное, — сказал он. — Ты всё спросил, а главного не спросил: почему они меня до сих пор не списали. Я ж им год как не работник — порчу больше, чем жгу... Так я сам скажу. Мне мой зябкий намедни обмолвился, ласковый такой: потерпи, говорит, Никитушка, недолго осталось. Сам едет.

— Кто — сам?

— Тот, кто роспись держит. Кто меня в подвале делал — я его голос из-под мешка слышал. Дважды слышал, Стёпка, и оба раза запомнил на всю жизнь. Первый раз — когда велел

начинать. А второй — на третьи сутки, когда всё уже кончилось и меня, пустого, выволокли наверх: он подошёл, постоял надо мной и сказал — спокойно так, тепло, как о рассаде: «Пусть живёт. Он ещё пригодится»... Вот с тех пор я и живу, сынок. Пригождаюсь. — Отец усмехнулся чернее чёрного. — Граф это, Стёпка. И он сюда едет, в Тулу, к Страстной неделе. А такие, как он, просто так не ездят. — Отец посмотрел поверх меня, на город, лежавший за балкой в утренних дымах, и сказал тихо и буднично, отчего стало только хуже: — Ежели он едет сам — значит, Туле готовят не роспись. Туле готовят урок. А мне в этом уроке, сынок, сдаётся, назначено быть растопкой.

На обратной дороге, у съезда к мосту через Упу, я встретил их. Первый раз — лицом к лицу.

Двое в сером шли мне навстречу по утренней улице: ведёрко, тряпки, ровный шаг людей при исполнении. У ворот хлебного лабаза они остановились, и один — буднично, со сноровкой, зевнув, — стал затирать на воротине свежий мел. Петуха. Я видел зубцы с десяти шагов — и не успел сосчитать: тряпка прошлась дважды, и календарь чьей-то жизни превратился в грязный развод.

Я прошёл мимо. Шагом. С лицом утреннего обывателя. Это было одно из самых трудных «мимо» за обе мои жизни: во мне, свежепринятый, ещё ходил отцовский жар, и руки знали, что могут. Но брать двух тряпичников — значило

спугнуть всю сеть за неделю до того, как мы будем готовы, и я шёл, и считал шаги, и на двадцатом серый окликнул в спину:

— Эй, добрый человек! Часом, не видал — не малевал ли кто тут давеча?

— Малевал? — Я обернулся с самым тупым видом, на какой способен. — А бес его знает, родимый. Я с похмелья.

— Бывает-с, — сочувственно сказал серый, и они пошли дальше, к следующим воротам.

«Бывает-с». Ласковое эхо ласкового хозяина. Я дошёл до моста и только там разжал кулаки — в ладонях остались белые полумесяцы от ногтей. Ничего, сказал я себе. Считай это разведкой боем, Стёпка. Ты теперь знаешь их походку, их сноровку и их «бывает-с». А они про тебя знают, что ты пьянь с похмелья. Неплохой размен для утра.

С балки за Упой я вернулся на подворье к полудню, соврал своим про бессонный дозор, лёг — и понял, что спать не буду.

Лежал и смотрел в потолочину. В доме шла жизнь: гремела посудой хозяйка, Бубен во дворе воспитывал Силычевых плотников, Лушка пела вполголоса над стиркой — она всегда пела над водой, вода у неё от этого, по-моему, лучше слушалась. Обычные звуки обычного дня. Только между мной и этим днём теперь стояло утро в кирпичном сарае — и я никак не мог протащить себя из того утра в этот день.

Отец жив. Отец — вот он, в версте, у ухоженной грядки

углей. И отец — это человек, который сжёг Настасью.

К вечеру я не выдержал, встал и пошёл к Упе.

Река стояла подо льдом, но лёд уже был мартовский — серый, ноздреватый, с тёмными промоинами у берегов. Я сел на перевёрнутую лодку и стал смотреть, как за реку садится холодное красное солнце.

В такие минуты — я знаю это за собой две жизни — надо дать голове догореть. Не гасить. Пустые пожары, которые не выпустил, догорают потом годами.

И я отпустил. И голова, дорвавшись, понесла меня туда, куда я её полтора года не пускал: домой.

В ту жизнь. В часть, где сейчас — то есть никогда, то есть через двести пятьдесят лет — заступает на смену караул, и дежурный пробует рацию, и пахнет соляркой, резиной и столовским борщом. К мужикам, которых я хоронил и с которыми пил на поминках. К Пахомычу, который орал в рацию «Горев, кровля!» — и который, наверное, сам выносил меня из-под той кровли, и вёл потом мой гроб, и говорил над ним что-нибудь казённое и настоящее... К сыну.

К сыну, которому так и не позвонил.

Вот что не отпускало, если честно. Не рация и не борщ. Простая симметрия, от которой ныло под рёбрами: там остался сын, который не говорил с отцом годами — и уже не поговорит. А здесь нашёлся отец, который семь лет ходил в версте от сына — и не смел подойти. Судьба, или кто там у них ведает перекрёстками, выдала мне второй шанс с точ-

ностью до наоборот: не ты прощаешь — тебя прощают. Не тебе звонят — ты иди сам.

— Понял, — сказал я вслух закату. — Не дурак. Дошло.

Закат не ответил. Закаты вообще не разговорчивы, в этом они с темнотой заодно.

— Я так и думал, что ты тут, — сказали сзади.

Бубен. Приковылял, кряхтя, по снегу — без костыля, между прочим: костыль он в последнее время «забывал» всё чаще. Сел рядом на лодку, завозился, добыл трубку, кисет, долго чиркал кресалом.

Мы молчали вдвоём, и это было хорошее молчание — из тех, которыми старики умеют делиться, как табаком.

— Я ведь чего пришёл-то, барин, — сказал наконец Бубен. — Ты только это... ты не удивляйся. Я ж старый. Старые — они приметливые... Ты с утра воротился — на тебе лица не было. А какое было — то я видал однажды. У мужика одного, под Хотином. Ему сказали, что брат его, которого похоронили, — живой, в плену сидит. Вот у того мужика было точнёхонько такое лицо. — Бубен пыхнул трубкой и договорил, глядя на реку: — Странник наш хворый. В дальнем сарае который. Я ему вчерась похлёбку носил, на руки его глянул... Я такие руки видал, барин. У покойного Никиты Никитича такие руки были — он же голыми руками... — Старик повернулся ко мне. — Это ж он и есть. Так, нет?

Врать Бубну я не стал бы, даже если б умел.

— Он, Кузьмич.

Бубен покивал. Долго, мерно, по-стариковски, глядя на лёд.

— Чуял, — сказал он. — Я, вишь, его по голосу ещё тогда, у богадельни, зацепил, да хода мысли не дал: покойник и покойник, чего уж... — Он вздохнул всей грудью. — Стало быть, вот оно как у нас. Стало быть, Кочет... Господи, твоя воля. Что ж они с человеком сделали-то, ироды.

— Ты как узнал — осуждаешь? — спросил я прямо. — Он Настасью жёг, Кузьмич. Богадельню. Тебя самого чуть...

— Меня — не он, меня дыринские, — отмахнулся Бубен педантично, как бухгалтер, которому подсунули чужой счёт. — А осуждаю ли... — Он выбил трубку о каблук и стал набивать заново: разговор требовал. — Я, барин, на войне, под турком, однова приказ исполнял. Деревню ихнюю жгли — чтоб, значит, конница ихняя без фуражу осталась. Стратегия. Я фитиль подносил, вот этой вот рукой. Там жители были, барин. Не солдаты... Мне это до се снится, раз в год, об Рождестве почему-то. — Он раскурил, пыхнул. — Так что осуждать мне его — не с моего крыльца. Я одно знаю: я свой фитиль подносил один раз, и то сломался. А он — семь годов. И не сломался, вишь: метки свои ставил, детей считал... Не-ет, барин. Это не осуждать. Это — поклониться впору, что человек в эдаком аду человеком усидел.

Он помолчал и прибавил деловито, совсем другим тоном:

— Похлёбку я ему, стало быть, носить продолжу. И вот ещё что: ты б ему табачку передал. Он спрашивал, да стес-

няется. Семь лет, говорит, не курил по-людски, всё на ходу...

Вот и весь суд старого бомбардира. Похлёбка и табак.

Знал бы ты, Кузьмич, как мне в ту минуту хотелось обнять твою седую воинственную голову. Но у нас так не принято — ни в том веке, ни в этом. Поэтому я просто сказал:

— Передам. И, Бубен... спасибо.

— Чего там, — сказал Бубен. — Пошли ужинать, барин. Хозяйка нынче расстегаи затеяла, Синица уже два скрал, так она его полотенцем до ворот гнала. Видал бы ты, как чешет, — не всякий конь возьмёт.

А за ужином меня ждало письмо. Из Крапивны.

Привёз его попутный обозный — конверт был толстый, самодельный, подписанный тремя почерками по очереди, и я узнал все три. Читал вслух, за столом, при всех — такие письма читаются только так.

Писал Фаддей — коряво, с натугой, но сам (выучился-таки за зиму, упрямый чёрт): «...служба стоит исправно, дозоры ходют, из горевшего за зиму — овин у Сычёвых да баня, обои потушены в четверть часа, народ доволен, а воевода присылал глядеть и опосля хвастал губернатору, быдто сам завёл...»

Дальше — рукой Матрёны, то есть рукой дьячка под её диктовку, но каждое слово было её, вплоть до интонаций: «...а ты там, батюшка, ешь ли? Тулячки, чай, готовить не умеют, у них вода жёсткая. Приедешь — щей наварю, да не

вздумай отощать, мне перед людями совестно...»

И в самом низу, большими старательными буквами, разъезжающимися, как телега по весне:

«ДЯДИНЬКА СТЕПАН. У НАС ВСЁ ХОРОШО. ИКОНА ВИСИТ. Я УЧУСЬ ПИСАТЬ ВОТ. ПРИЕЖАЙ. ДУНЬКА».

За столом стало тихо. Лушка шмыгнула носом. Хозяйка — та вовсе отвернулась к печи, загремела заслонкой: «Дым, дым проклятый...» Никодим перекрестился и пробасил:

— Вот тебе, чадо, и вся богословия. «Икона висит. Приезжай».

Синица, у которого на «приежай» дрогнула физиономия, немедленно это скрыл, потребовав письмо «поглядеть», и долго водил пальцем по Дунькиным буквам с видом знатока каллиграфии. Ерофей сказал, что букву «ж» девка выводит лучше крапивенского дьячка, и в этом была семейная гордость: Дунька училась по прописям, которые Ерофей ей своими руками разлиновал. А Лушка забрала письмо последней, прочла про себя, шевеля губами, всё до последней буквы — она сама выучилась читать только этой зимой — и сказала тихо, ни к кому: «Вот бы кто знал, что про нас в Крапивне письма пишут... Нас, бывало, со двора гоняли, а теперь — письма». И стало понятно, что письмо это — не мне одному. Оно было всем нам: бумага с тремя почерками, удостоверяющая, что у восьми бродяг, добравшихся зимником до чужого города, есть дом, где им рады.

Я сложил письмо и убрал за пазуху — туда, где уже ле-

жала отцовская дощечка. Теперь они лежали рядом: «отцы за детей не прячутся» и «икона висит, приезжай». Два моих документа на эту жизнь. Вся остальная канцелярия — приложения.

Я вышел на двор — встречать. Сани вернулись в третьем часу ночи: Ерофей правил, Никодим сидел сзади, а между ними, под рогожей, в тулупе с чужого плеча, ехал хворый странник — и я видел в темноте, как он, въезжая в ворота, поднял голову и долго смотрел на спящий дом, на тёплые окна, на дымок над трубой.

Семь лет человек не въезжал в ворота, где его ждали.

— Печурка протоплена, — сказал я, помогая ему слезть. — Похлёбка в печи. Табак на полке — Бубен прислал, велел кланяться.

— Бубен... — Отец усмехнулся в темноте. — Узнал, стало быть, старый канонир... Ну да от своих не схоронишься. Свои — они приметливые.

И пошёл в свой сарай — медленно, вглядываясь в каждый угол двора, как вглядываются в лицо, которое боялись забыть.

Спать я, конечно, не смог. Полежал, послушал дом — и под утро, ещё затемно, пошёл к сараю: проверить печурку, соврал я себе. Печурку, как же.

Он не спал тоже. Сидел у огонька, на чурбаке, в наброшенном тулупе — и, когда я вошёл, не обернулся, только подвинулся, освобождая край лежанки: садись, мол. Я сел. По-

молчали. Печурка тикала остывающим железом, за стеной ворочался во сне Уголёк.

— Я уж и забыл, как оно, — сказал отец наконец, вполголоса. — Чтоб за стеной — кони. Чтоб в доме — спали. Семь лет, Стёпка, я ночевал там, где спящих нет: в балках, в омшаниках, на пепелищах... На пепелищах теплее всего, к слову. И гаже всего... — Он повёл подбородком на дверь, на двор, на спящий дом за двором: — А тут вон... дышат. Слышишь? Весь дом дышит. Я цельный час сижу слушаю, как дышат. Думал, с ума уже сошёл — радуюсь.

— Это не с ума, батя. Это обратно.

— Обратно... — Он усмехнулся, тихо, без черноты. — Скажешь тоже. Обратно мне нельзя, сынок, мне можно — рядом. Ну да рядом — это уже, брат, цельное богатство. Ты иди, поспи. Тебе на службу. — И, когда я был уже в дверях, добавил — в спину, негромко, впервые за семь лет: — Спокойной ночи, Стёпка.

Я вышел и постоял на дворе. Светало. Из сарая тянуло дымком — печным, мирным, домашним.

Спокойной ночи, батя.

И я пошёл спать, и спал — впервые за эти сутки — как человек: без пожаров.

Снились, вы будете смеяться, расстегаи.

Глава 6

Ефим Ильич Сквозняков любил Тулу.

В Туле хорошо топили. В Туле, в наёмном его доме на Посольской, печи стояли голландские, изразцовые, и истопник был вышколен: с пяти утра тепло, к полудню — жара. Ефим Ильич сидел у изразцов в шлафроке, пил четвёртый чай и писал доклад.

День Ефима Ильича был устроен, как хорошие часы, и этим устройством он втайне гордился. С пяти — печи и молитва: молился Ефим Ильич искренне, с чувством, за здравие государыни и Аркадия Петровича и за упокой длинного, из года в год растущего списка, который он знал наизусть, — он полагал, что поминать их есть его долг, ибо больше некому. С шести — люди. Люди шли с чёрного хода, по одному: серые с ночными докладами, нищий староста с паперти, писарёк из губернской канцелярии, баба-просвирня, знавшая все крестины и похороны города. Каждому было плачено — не щедро, но без обману, по твёрдой таксе, и такса эта была записана в особой памятной книжечке, сафьяновой, с застёжкой. Книжечек таких у Ефима Ильича было девять, за двадцать лет службы, и в них помещался весь его мир: кто взял, кто должен, кто видел, кто болтал. Люди в книжечках не имели имён — имели прозвания и цифры, и Ефим Ильич искренне считал это милосердием: бумага с именем губит,

бумага с цифрой — хранит.

Нынешнее утро из людей принесло двоих.

Первым был староста нищих с соборной паперти — древний, в чистых обносках, с глазами умными и пустыми, как у старой щуки. Доклад его был краток и неутешителен: мальчишки, что шныряли по слободам, к паперти не прибиваются, калачей чужих не берут, а на расспросы отвечают складно и врут, «как по-писаному, кормилец: кто таков — сирота, чей — Божий, куда бегал — куда послали».

— По-писаному, — повторил Ефим Ильич с удовольствием знатока. — Выучены, стало быть. Недели за три выучены — быстро-с... А скажи-ка, любезный: бьют их? Ну, когда ловят ваши — бьют?

— Бивали, — степенно сказал староста. — Без пользы, кормилец. Битый ихний назавтра сидит на старом месте и глядит. И уж не один сидит — с другим. Они, кормилец, биться не бьются, а... — он поискал слово, — а прибывают.

Прибывают. Ефим Ильич записал это слово в книжечку буквально: оно было точное и очень ему не нравилось. Сети, которые от битья прибывают, он видел за службу дважды. Обе принадлежали людям, с которыми потом выходило долго и дорого.

Вторым пришёл писарёк из губернской канцелярии — потный от страха и важности — и принёс за полтину новость, стоившую трёх: брандмайор Жаров подал представление о восстановлении какого-то спившегося брандмейстера,

а майор Чекан затребовал из архива пожарные ведомости за семь лет. За семь, кормилец. Все.

Писарька Ефим Ильич отпустил ласково, с прибавкою, а сам долго сидел, сложив ручки. Ведомости за семь лет. Его лет, его работы. Кто-то во всей этой жаровской берлоге начал читать — не стены уже, а бумаги. Этого следовало ожидать, и это следовало доложить. Но доложить — значило расписаться: недоглядел-с.

С десяти Ефим Ильич пил чай и думал. Это была главная его работа — за неё, собственно, и шло жалованье из сумм, которых не было ни в одной росписи государства. Думать Ефим Ильич умел, как никто: медленно, кругами, без озарений — озарениям он не доверял, — как ходит вол по молотильному кругу, пока из колоса не выйдет всё зерно до последнего.

Нынче зерно выходило горькое. Писал он, по всегдашней своей привычке, начерно и для себя — набело пойдёт шифром, с нарочным. А начерно оно думалось лучше.

«Милостивый государь Аркадий Петрович.

По тульскому делу имею донести следующее.

Первое. Роспись на март исполнена в двух статьях из четырёх. Красильный двор не исполнен: люди мои взяты на месте караулом, каковой караул устроил известный Вам недоросль. Люди сидят в жаровском подвале, и поют они там, боюсь, не псалмы. Убыток признаю своим недосмотром: недооценил-с. Недоросль за полтора года из уездного чудака сде-

лался сущий дознаватель, и мальчишки его шныряют по всему городу, аки мыши.

Второе. О Никите. Совсем испортился наш Никита, Аркадий Петрович. От дел отставлен, однако же продолжает самовольничать: метит дворы по старой своей привычке, народ полошит. Пробовал я его приструнить обычным порядком — тянет, виляет, тощает. Жжёт еле-еле, вполсилы: куда девает остальное — не разумею, и это меня, признаться, беспокоит пуще прочего. Печь топится — а дыму нет. Так не бывает-с.

Третье, и главное. Недоросль с Никитою доселе не сошлись, однако сойдутся непременно: город один, порода одна. Что воспоследует от такого схождения — Вам, Аркадий Петрович, ведомо лучше моего: Вы изволили читать те же старые бумаги, что и я. Двое Горевых в одном городе — это уже не уездный курьёз. Это-с... прецедент».

Ефим Ильич остановился, погрел пальцы о чашку и слово «прецедент» вымарал. Граф не любил учёных слов. Написал просто: «это уже опасно».

«Посему осмелюсь представить на Ваше усмотрение две меры.

Мера первая: Никиту — списать. Не тихо, как заведено, а громко: взять яко поджигателя, уличить при народе и предать казни по всей форме. Польза двойная: город получит виноватого во всех пожарах за семь лет — и успокоится, а роспись впредь пойдёт чистою: пожары будут, поджигателя

— не будет, ибо он казнён, а на казнённого чего не спишешь.

Мера вторая: недоросля — приручить. После казни, по горячей золе, таковые юноши делаются сговорчивы: он увидит, чем кончают упрямые, и услышит, что ему предложат. А предложить ему, полагаю, следует то самое место, кое семь лет как пустует. Порода редкая, Аркадий Петрович. Порода — жалко».

Он перечитал, остался доволен и допил чай.

Шесть дней ожидания Ефим Ильич провёл в трудах — ожидать сложа руки он не умел, от безделья у него стыли ноги.

В первый день он попробовал дотянуться до своих сидельцев в жаровском подвале — и не дотянулся: у подвала стоял чекановский караул, менявшийся не по часам, а как вздумается, и прикормленный жаровский лакей доложил, что к допросам серых не допускают никого, «сам майор пишет, а барышня, слышно, при сём присутствует и вопросы подсказывает». Барышня. Ефим Ильич записал про барышню отдельной строкой и трижды её подчеркнул: девица, подсказывающая вопросы на допросе, нравилась ему меньше всего из увиденного в этом городе.

Во второй день он занялся тетрадью. Разложил её у окна, на свету, и работал с нею, как ювелир: щупал переплёт, нюхал кожу, слюнил палец и тёр сальные пятна, глядел страницы на просвет, сличал почерк с единственным образцом, какой имел, — с собственной выпиской семилетней давности.

Всё было безупречно. Пятна были старые, жирные, честные. Бумага — вылежанная. Почерк — тот самый, с характерным горевским нажимом на хвостах... Ефим Ильич отложил лупу и некоторое время сидел, сложив ручки, испытывая чувство, которое за двадцать лет службы посещало его четырежды и которого он боялся больше начальственного гнева: чувство, что по ту сторону доски сидит игрок.

В остальные дни он чинил сеть. Переловленные и выпоротые нищеброды показали, что бегают «к доброму барину за калачи» — глядеть за стенами, не малюет ли кто; пороть их дальше было без толку и убыточно для осведомления: торг знал, чьи это мальчишки, и после порки глядел на серых нехорошо. Писарёк донёс, что недоросль затребовал из архива планы городских частей «для пожарного дела» — и получил, по жаровскому представлению, законнейшим образом. Всё, что делал этот крапивенский, было законнейшим образом, и вот это Ефиму Ильичу не нравилось совершенно: с законными людьми его наука работала плохо.

Ответ пришёл через шесть дней — быстрее быстрого, нарочный загнал двух лошадей. Пакет был тонкий. Граф вообще писал коротко — люди, за которых думают бумаги, могут себе это позволить.

Ефим Ильич вскрыл, пробежал — и некоторое время сидел неподвижно, глядя в изразцы.

В пакете было три строки, ровным красивым почерком с завитками:

«Обе меры одобряю. Казнь — на Страстной, никак не ранее: хочу видеть сам.

Выезжаю четвёртого апреля. Приготовьте дом потеплее.

P. S. Тетрадь, что вам отдали, — подделка. Переплёт новый, а Никита сроду не ставил точки над «и» десятеричным — я его руку помню. Мальчик уже играет с вами, Ефим Ильич. Постарайтесь, чтобы к моему приезду было наоборот».

Ефим Ильич сложил письмо, посидел.

Потом встал, подошёл к печи и долго, обстоятельно грел у изразцов спину. Спине было тепло. Ефиму Ильичу — нет.

Он вспоминал тетрадь: кожу переплёта, сальные пятна, почерк — почерк безупречный, он сам семь лет назад читал подлинник ночь напролёт и сейчас не отличил. Мальчишка из уездной дыры, на коленке, без науки, свалял фальшивку, которая обманула его, Сквознякова, — человека, через чьи руки прошло столько чужих бумаг, что ими можно вымостить дорогу до Петербурга.

А граф отличил. По точкам.

— Порода, — сказал Ефим Ильич изразцам. Голос у него был тихий и совсем не ласковый — таким голосом он говорил редко и только наедине с печами. — Ох уж мне эта порода. Жгли её, жгли...

С породой у Ефима Ильича были счёты давние и свои. Сорок лет назад мальчиком-сиротой при московском сыскном подьячем он таскал бумаги, мёрз по чужим сеням и был ни-

кем — пока старый подьячий, умирая, не передал его, вместе с прочим имуществом канцелярии, человеку из ведомства, которого нет. Там разглядели главное его дарование: Ефимушка не умел ничего — ни Дара, ни родни, ни крови, — и оттого умел всё. Незаметность была его Лествицей, и он прошёл её до конца. А науке рук его выучил предпоследний мастер — угрюмый старик, которого Ефим Ильич, единственный из всех людей на свете, вспоминал с нежностью: старик один во всём ведомстве говорил ему «ты, Ефим, не тварь дрожащая, ты — инструмент тонкий». Инструмент. Тонкий. Ефим Ильич носил эти слова сорок лет, как носят родительское благословение, и зяб, зяб, зяб — с того самого первого раза, после которого, сколько ни топи, тепло в тело уже не возвращалось.

Что это за первый раз был — Ефим Ильич не вспоминал никогда. Выучился не вспоминать. Тоже наука, и тоже — его.

Он вернулся к столу и принялся писать распоряжения — много, быстро, скучным канцелярским перечнем: усилить пригляд за подворьем у Оружейной; мальчишек нищих более не трогать — порка показала себя убыточной, — а заместо того пустить меж ними своих, помельче и попригляднее, и платить вдвое против горевского калача; за балкой, что за Упой, где по донесениям тепло, — глядеть, но не трогать: пусть ходит, целее будет к сроку; самого недоросля — также не трогать ни под каким видом, граф о том писал особо: «мальчик дозреет сам, зелёным не рвать»; к Страстной

приготовить: дрова сухие, столб железный, цепи...

Хозяйственную часть представления Ефим Ильич взял на себя лично — доверять такое серым было нельзя, серые умели жечь и стирать, а тут требовалось умение иное: купить так, чтобы покупки не сложились ни у кого в голове в одну картину. Настил заказывался плотницкой артели от имени управы — «под торговые весы». Столб — кузнецу Томилину от маклера Гусака, «для заводского дела, крепёжный». Дрова — через хлебный ряд, «на просушку амбаров». Глашатаи нанимались от губернской канцелярии. Шесть человек покупали шесть вещей, и только седьмой — он сам — знал, что покупается казнь. Так Ефим Ильич работал всегда, и в этой раздробленности был его почерк и его гордость: никто никогда не видел целого.

Он не знал — и в этом незнании уже жила вся его будущая погибель, — что в Туле завёлся человек, который целое собирает из обломков по ремеслу: пожарный дознаватель читает сгоревший дом по гвоздям. Настил, столб, цепи, дрова, глашатаи — для шестерых покупателей это были шесть покупок. Для человека с гусаковской конторской книгой они сложатся в одну строку за один вечер.

На слове «цепи» перо его на миг остановилось.

— Жалко, — сказал Ефим Ильич искренне. Он действительно жалел — он всегда искренне жалел тех, кого вписывал в свои перечни, и считал эту жалость доказательством, что душа у него жива. — Ну да служба.

И дописал: «...цепи двойные, понеже одинарные он пережигает».

Кончив распоряжения, Ефим Ильич оделся и вышел пройтись — он позволял себе это раз в день, в сумерки, для здоровья и для пригляда. Тула вечерняя была хороша: морозец, дымки́, огни в окнах, из кузнечного конца тянуло жилым железным теплом. Ефим Ильич шёл не спеша, ласково уступая дорогу встречным, и любовался — он не лгал себе: он действительно любил этот город, как любил и Калугу, и Орёл, и все города, какие прошли через его перечни. Любить объект работы Ефим Ильич считал признаком мастера: столяр любит дерево, скорняк — мех, а что дереву от столяровой любви не легче — так на то оно и дерево.

У съезда к торгу мимо него пробежал мальчишка-нищеброд — из тех самых, шнырких, — и Ефим Ильич проводил его благожелательным взглядом, отметив про себя: бежит с Посольской, от моего дома, стало быть — глядел за мной, доложит недорослю, что серенький гуляет и любуется... Пусть доложит. Пусть мальчик привыкает, что Ефим Ильич — вот он, рядышком, гуляет открыто, никого не ест. К сроку это пригодится: страшен не тот, кто прячется. Страшен тот, к кому привыкли.

Он купил у сбитенщика кружечку, погрел о неё ручки, не допил и пошёл домой — топить, думать и ждать четвёртого числа. Снег поскрипывал. Город топился. Всё, голубчики, шло своим порядком-с.

Γ

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.